

ОФИСЪ РЕВОЛЮЦІИ

В. ВОЙТИНСКИЙ

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

КНИГА ПЕРВАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

В. ВОЙТИНСКИЙ

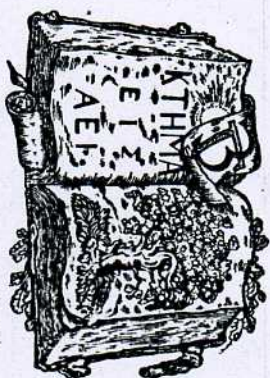


5011

ИЗДАТЕЛЬСТВО З. И. ГРЖЕБИНА

БЕЛАЯ * ПЕТЕРБУРГ

1923



1905-йй го4

215,265

1. В УНИВЕРСИТЕТЕ

Студенчество в конце 1904 года. — 9-ое января. — Университетская сходка. — Лето 1905-го года. — Вступление в Р. С. Д. Р. Партию. — В подражном комитете. — Открытие Университета. — Начало университетских митингов. — Толпа и речи. — Коллегия митинговых ораторов. — Американские гости. — Конфликт с профессорами и Совет Студентов. — Митинговая кампания и октябрьские дни в Петербурге. — Накануне всеобщей забастовки. — Тревожные дни. — Последний университетский митинг.

Осенью 1904 года, когда я 19-летним юношей поступил в С. Петербургский Университет, в студенческом движении наблюдалось вагипье.

В это время студенчество уже не представляло собой сплоченной, однородной радикально настроенной массы, как в начале 900-ых годов. Уже в конце 1903 года всероссийский студенческий съезд констатировал, что «шовсеместным и наиболее характерным признаком настоящего исторического момента, переживаемого студенчеством, является более или менее резкая дифференциация в среде студенчества».

В последовавшее за съездом полугодие наметились дальнейшие признаки этого процесса.

Варьив шовинизма, ознаменовавший начало русско-японской войны, увлеч и студенческую массу. Радикализм ее поблек, на смену противоправительственным настроением пришло увлечение националистическими идеями, поглощаемой в «вещночном вожде» России.

215,265-6

3

В Петербургском Университете руководящая роль перешла от революционных студенческих организаций к ярко монархической корпорации «Денища». 28 января 1904 г., после обнародования манифеста о войне, в актовом зале собралась сходка адреса царю. Большинство 500 голосов против 300 был принят текст, предложенный «Денищей». Раздались звуки «Боже, Царя храни». Меньшинство принялось пикать. «Патриоты» пустились в ход кулаки. «Радикалы» были сметы и выброшены из зала. После шествия с трехцветными флагами по университетскому коридору, студенческая толпа двинулась к Зимнему Дворцу. И когда из дворца вышел манифестант Петербургский прадоначальник Клейгельс, в честь его кричали «ура», бросали в воздух фуражки, снова пели «Боже, Царя храни»....

Еще ярче проявился подьем «патриотизма» в военно-медицинской академии: медики не только носили по улицам трехцветные флаги и царские портреты, но опускались на колени при проезде царских саней.

Лишь в Горном Институте и на Высших Женских Курсах противоправительственные настроения оказались сильнее повиннического утара: торжества, сразу после появления манифеста, вынесли резкую резолюцию против войны; а сходка беспутных студентов не допускала на курсах молебна «о даровании победы».

Вскоре воинственные настроения среди студенчества рассеялись, — как рассеялись они и в других кругах русского общества. О манифестационных первых дней войны вспоминали с чувством стыда и неловкости. Но от этого кратковременного при-

ступа благонамеренного «патриотизма» остались следы в виде полной дезорганизации радикальных элементов во всех высших учебных заведениях России.

Этим объясняется провал противоправительственных выступлений студенчества в 1904 г. (в Одессе, Петербурге, Москве).

Осенью 1904 г. среди студенчества можно было отметить левых, правых и беспартийных. Последние были всего больше, они составлено и составляли «студенческую массу». Но к левым беспартийные были значительно ближе, чем к правым. «Денища» была изолирована, не пользовалась влиянием и играла роль полуполитической организации, — так смотрели на нее не только студенты, но и лучшая часть профессуры.

Впрочем, радикализм беспартийного студенчества был вялый, пассивный, теоретический. Чувствовалось, что дальше слов он не пойдет.

В центре политических интересов стоял вопрос о войне.

Напомню, что к этому времени исход войны окончательно определился: была уже уничтожена русская дальневосточная эскадра, была разбита под Ляоном русская армия; правда, еще держался Порт-Артур и на помощь Куропаткину, оставившему войска на мукденских позициях, тинулись новые полки, но Россия была уже побеждена, ибо в народе была убита вера в возможность одолеть врага, и никакие колебания боевого счастья не могли изменить этого факта.

Отношение большинства студентов к войне было вполне определенное. Ругали военное командование, издавались над сообщениями штаба о подвигах русских армий. Торжествовали при известиях об успехах Японии. Охотно толковали о нашей неподготовленности к войне, о неизбежности нашего поражения. Ждали, что поражение приведет к внутреннему обновлению русской жизни.

Нередко речь шла о причинах войны. Из уст передавались подробности о Бесовраговских концессиях на Ялу. Рядом с этим шли рассуждения о том, что Япония совершенно права, стремясь утвердиться на материке, что на островах ей, действительно, тесно.

Большим успехом пользовались карикатуры, изображавшие Николая II и Микадо. В среде политически незрелой молодежи Микадо внушал к себе уважение, — особенно рядом с русским царем.

Много говорили тогда о поздравительной телеграмме, якобы отправленной японскому императору студентами, — не то нашего Университета, не то какого-то института. Конечно, это была провокационная выдумка: ни один телеграф не принял бы подобного послания. Но психологическое и, пожалуй, выступление не было бы невозможно и, пожалуй, не вызвало бы ни осуждения, ни удивления в студенческой среде.

Употребляя термин, который получил широкое распространение в последнюю, всемирную войну, я скажу бы, что осенью 1904 г. среди беспартийного студенчества преобладали оптимистические настроения, что поражение было в это время наи-

более обычной формой студенческого радикализма, оппозиционности.

Существовали в Университете тайные революционно-партийные организации (социал-демократическая, социал-революционная и др.), обединенные «Коалиционным Советом». Кажется, у них были связи с подобными группами в других высших учебных заведениях и с партийными центрами. Как протекала внутренняя жизнь этих организаций, я не знаю, но их внешняя деятельность ограничивалась исключительно денежными сборами и распространением нелегальной литературы. У меня осталось вполне отчетливое впечатление, что в то время они большого значения не имели, и интереса к ним студенческая масса не проявляла.

Напротив, к революционной литературе беспартийное студенчество относилось с большим интересом. В Университете открыто продавались различные журналы («Искра», «Революционная Россия» и «Освобождение»), нелегальные брошюры, портреты революционных деятелей и теоретиков социализма, открытки с карикатурами на Николая II. Каждая политическая партия имела свой столлик для продажи литературы. У аскезов преобладали брошюры, у эсеров открытки и портреты.

Но в различных между партиями стоявшая в стороне от кружков студенческая масса развивалась слабо. «Освобождение» Петра Струве читалось точно так же, как социал-демократическая «Искра», — теми же лицами и с тем же удовольствием. Знали, что Струве за войну, а социал-демократы против, но это представлялось второстепенной подробностью. Существовало было то, что

и «Освобождение», и «Искра», и «Революционная Россия» идут против самодержавия, ругают правительство.

Академическая жизнь протекала у нас во вторую половину 1904 года мирно, без потрясений, без конфликтов.

Уклон студенчества в сторону радикализма проявлялся в разговорах, в чтении негегельской литературы, да еще в том, как относились молодежь к различным профессорам.

Симпатиями пользовались лишь левые профессора. Но понятие о «левизне» было у нас довольно смутное.

«Левыми» считались: и Е. Тарле, читавший лекции о французской революции, и Л. Петражицкий, высказывавшийся с кафедры за академическую автономию, и В. Гессен, и А. Покровский, и многие другие, — короче, все те профессора, которые позже нашли свое место в Академическом Союзе, а еще позже — в рядах конституционно-демократической партии или по близости от нее.

В 1904 г. радикализм этой части профессуры, более или менее удовлетворял беспартийную студенческую молодежь.

В научных кругах, где под руководством профессоров и приват-доцентов занимались наиболее серьезные и работящие элементы студенчества, радикализм был ярче и носил более или менее ясную социалистическую окраску.

Здесь социал-демократы и социалисты-революционеры выступали почти открыто, — под псевдонимами и никого не обманывавшими псевдонимами и никого не обманывавшими псевдонимами

нимами «марксистов» и «сторонников субъективного метода в социологии».

Марксистов особенно много было в кружке политической экономии, которым руководил приват-доцент В. Святловский. Здесь я и познакомился впервые с партийными студентами, — познакомился, но не сошелся близко.

Дело в том, что я был в то время сторонником психологической теории ценности и со всей энергией защищал эту теорию против атак слоганной фаланги университетских марксистов, учававших меня за это в мелко-буржуазности¹⁾. Цельные заседания кружка проходили в спорах между нами, и в результате за мной установилась репутация «марксиста-ена», — репутация, исключавшая возможность более тесного сближения с социал-демократической студенческой организацией, — единственной, которая сколько-нибудь интересовала меня...

Осень 1904 г. ознаменовалась началом общественного подъема. 6-го ноября в Петербурге собрался съезд всемирных деятелей, выработавший всеобщепризнанный адрес, в котором упоминалось о «безусловной необходимости правильного участия народного представительства, как особого выборного учреждения, в осуществлении законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в контроле над законностью действий администрации». Это было открытое требование конституции.

¹⁾ Замечу мимоходом, что ни одному из моих тогдашних оппонентов не было суждено остаться до конца в марксистском лагере, а иные из них вскоре ушли очень далеко вправо от

Ряд высших учебных заведений (в частности, Московский Университет) представил с'езду заявления, подчеркивавшие необходимость побиваться созыва Учредительного Собрания, основанного на всеобщем голосовании.

Петербургское студенчество осталось в стороне от этой кампании, хотя, конечно, и у нас не трудно было бы собрать под подобным заявлением несколько тысяч подписей. Но у нас во-время никто не подумал о желательности такого выступления, а потом уже поздно было, момент был упущен.

Между тем, по всей России шли политические банкеты, публичные собрания научных обществ, открытые заседания городских дум и земских собраний, — проявления «весны» Святопола-Мирского.

Местами банкеты выпалились во внушительные манифестации, в которых социал-демократическая партия и организованные ею рабочие играли заметную роль. Рядом с требованием государственных преобразований выдвинулся новый лозунг — немедленное прекращение войны.

Запелелилось и студенчество. В Петербургском Университете начались разговоры о необходимости «уличного выступления». Стали подготавливать демонстрацию, в которой студенты должны были выступить вместе с рабочими.

Подготавлилась эта демонстрация до последней степени плохо. Полиция знала обо всех планах, а студенческая масса питалась лишь смутными слухами. Разгорелись споры между эсерами и эсдеками — должна ли демонстрация быть мирной или вооруженной. Спорили в коридорах, на

лестнице, в университетской столовой, в курильне, — совершенно открыто.

Наконец, назначили манифестацию на 28 ноября; затем, отменили это решение; потом, чуть ли не накануне, назначили вновь на этот день. Кончилось дело полным провалом: рабочие на демонстрацию не пошли, студентов и курсисток собралось очень мало (едва ли больше 150 человек). Все же в назначенное время на Невском проспекте, около Дум, выкинули красные флаги. Но нагнетавшая со всех концов полиция в одно мгновение рассеяла «краснольников» и принялась по одиночке избивать их. Многие студенты, пришедшие на Невский проспект с целью участия в манифестации, — в том числе и я, — не успели даже присоединиться к демонстрантам, — так быстро кончилось все.

Вечером в этот день был традиционный благотворительный бал в Технологическом институте. В одной из аудиторий устроили сходку для обсуждения случившегося. Говорили представители различных партий. Это была первая нелегальная сходка, на которой мне пришлось присутствовать. И должен признаться, впечатление получилось у меня смутное и не очень благоприятное: было много красноречия, много споров, много жару, но ничего единого, целостного, сильного.

Неделю спустя была предпринята попытка уличной манифестации студентов и рабочих в Москве, — результат оказался тот же, что и в Петербурге: рабочие опять не пришли, опять студентов собралась крошечная кучка, и все кончилось, как и в Петербурге, избиением демонстрантов на глазах любопытной публики.

После этих неудач настроение среди студентов заметно упало. Казалось, не скоро рикнет студенческая масса на новое выступление, не скоро создастся возможность выявления в революционном действии ее оппозиционного, противоправительственного настроения.

Такое было мое впечатление от студенчества, когда, в декабре 1904 г., я уезжал из Петербурга за границу.

Когда месяц спустя я вернулся в Россию, Университет нельзя было узнать.

Впрочем, и вся общественная жизнь до неузнаваемости изменилась за эти несколько недель. Сдвинулись все грани, переместились все группы. Появились новые силы, новые люди, новые ровки, появились новые борьба пробил себе новое лезвие, политическая борьба пробил себе новое русло. Да и я сам возвращался в Россию не тем, каким был месяц тому назад.

За этот месяц произошло 9-ое января.

* * *

Январские события застали меня во Флоренции. Я жил здесь в небольшом русском пансионе и целыми днями бродил по городу, любуюсь сокровищами искусства, рассеянным в музеях, церквях и дворцах. А вечера проводил за газетами. Русские газеты приходили с большим опозданием и не каждый день. Но в городе можно было достать французские и немецкие газеты. А кроме того, хозяйка пансиона — интеллигентная русская дама, уже давно заброшенная судьбой в Италию —

каждый вечер переводила нам из местных газет сообщения о русских делах.

Итальянская пресса уделяла в то время много внимания России, — точнее, впрочем, не России, а русско-японской войне.

Только что пал Порт-Артур. Печатались подробности о последних днях обороны, рассказы военно-пленных, описания вступления японских войск в крепость. Настроение газет — по крайней мере тех, с которыми я мог ознакомиться — было открыто руссофобское.

Об успехах японцев сообщали, как о новости, которая, несомненно, должна доставить удовольствие итальянскому читателю. О событиях внутренней жизни России писали мало — и то лишь в той мере, в какой эти события имели отношение к войне: передавали о признаках растущей разрухи, как о фактах, облегчающих Японии окончательную победу.

4-го января появилось в местных газетах сообщение из Петербурга: «Забастовал Путиловский завод, работающий на военное ведомство». Передавая эту новость, итальянские газеты подчеркивали, что Путиловский завод — самый большой из военно-механических заводов России, и что забастовка на нем задержит отправку на Дальний Восток Балтийской эскадры.

Помню, я не придавал большого значения этому известию.

На другой день пришли новые вести: забастовочное движение в Петербурге разрастается; путиловские рабочие, рассеявшись по городу, обходят заводы и фабрики, призывают всех рабочих прим-

к забастовке; многие предприятия уже останутся к забастовке; ожидают, что забастовка станет всеобщей...

Газеты приводили подробности о происхождении этой, столь неожиданно вспыхнувшей, забастовки: дело началось из-за несправедливого увольнения с Путиловского завода четырех рабочих; за обидных вступились заводской священник и патер Гавриил, но его обращения к администрации оказались бесплодными; тогда патер призвал к забастовке всех петербургских рабочих.

На личности патера газеты останавливались особенно охотно: итальянским читателям было интересно узнать, что их соотечественник Гавриил стоит во главе широкого движения в варварской России.

У патера — огромная организация, одиннадцать отделов во всех частях города; русские рабочие чуть не молятся на него, слепо верят каждому его слову, готовы идти за ним в огонь и в воду.

Что за чертовщина! думал я, пока хозяйка пансиона переводила нам из местной газеты эти сообщения: Итальянский патер во главе русских рабочих! Всеобщая забастовка из-за увольнения четырех человек! Видно, о российских делах можно здесь врать, что угодно, — всему поверя. 6-го января петербургским событиям были посвящены в итальянских газетах целые колонки: забастовка охватила почти весь город; число забастовщиков превышает 100 тысяч человек; рабочие требуют восьмичасового рабочего дня; движение поддерживается революционными партиями; происходит

столкновения рабочих с полицией; для поддержания порядка вызваны войска.

По прежнему над всеми сообщениями царил фантастическая фигура патера Гавриила (который, в представлении флорентийских газет, так и оставался до самого конца итальянцем и чуть ли не эмиссаром Святейшего Престола). Но за исключением этой подробности, в известиях, шедших из Петербурга, теперь уже не было ничего фантастического: развертывалась картина массового выступления пролетариата, подобная картинкам рабочего движения Англии или Германии, о котором я знал из книг.

Я почувствовал, что там, в Петербурге, совершается что то огромное, было обидно и стыдно, что в эти дни я оказался так далеко от России, — почему то в чужой мне Флоренции, посреди мертвых памятников прошлого.

А вместе с тем насмешливый внутренний голос твердил мне: «Ну, а если бы ты был в эти дни в Петербурге, что стал бы ты делать? Ведь вот, 28-го ноября, на демонстрацию то не попал, опоздал. А о том, как подготовлялись, нарастали нынешние события, ты, сидя в Петербурге, знал так же мало, как если бы всю жизнь прожил на необитаемом острове!»

Утром 7-го я с жадностью набросился на газеты. Телеграммы из России были помещены на первой странице, под огромными заголовками. Мне бросился в глаза набранное особенно крупно слова: «Св. Св. Петр и Павел».

Хозяйка перевела мне: речь шла о «крепости Святых Петра и Павла», то есть о «Петропавловке»:

накануне, в день Крещения, крепость открыла артиллерийский огонь по Зимнему Дворцу; был дан залп по устроенным на льду мосткам для водо-святых, на которых находились царь с семьей, с приближенными и министрами; убитых нет, но много раненых...

Помню подробность, — заключительную фразу газетной телеграммы ховяка перевела так: «Адмирал Авелан имел свою шляпу в куски».

Сообщение вызывало много недоуменных вопросов: Почему только о д и н залп? И как это, в результате залпа на столь близком расстоянии, — ни одного убитого? И каким чудом уцелел Николай?

Но сколь ни казалось странным это стечение обстоятельств, еще менее правдоподобным предстало предположение, что крепостные пушки осыпали царскую «Мордана» картечью по ошибке, вместо почетного салюта...

Новое известие невольно слетелось с сообщений последних дней. События приобретали окраску все большего драматизма.

А стачка в Петербурге разрасталась. 8-го января газеты сообщили о том, что газовые заводы и электрические станции примкнули к забастовке, и весь город был погружен во тьму. В тот же день стало известно, что п а т е р Г а п о н и решил предъявить царю, петицию о нуждах рабочих, под петицией собираются подписи во всех заводских районах, и 9-го января все петербургские рабочие пойдут к Зимнему Дворцу для вручения этой петиции Николаю.

О содержании петиции газеты передавали разное. Точный текст ее, помнится, не был сообщен в телеграммах. Были приведены лишь основные требования: немедленное прекращение войны, созыв Учредительного Собрания, амнистия, 8-ми часовой рабочий день.

Как ни слабо я разбирался в то время в политических вопросах, для меня было ясно, что это — требования революционные. И потому я не мог понять пред'явление подобных требований в форме всеподданнейшей петиции.

Что означает это шествие рабочих к царскому дворцу? Откуда вышли загадочный п а т е р с нерусской фамилией, ведущий рабочих этим путем?

Вечерние газеты 8-го января сообщали, что рабочие едва ли будут допущены к царю, что правительство готовится к подавлению движения вооруженной силой, в Петербурге в общественных крутах царит тревога, и в воскресенье, 9-го, можно ожидать кровавых событий.

Дольше оставаться вдали от России я не мог, и 9-го утром я выехал в Петербург через Германию. В Мюнхене пришлось задержаться на несколько часов, — от поезда до поезда.

Уже вышли вечерние газеты. Целые полосы были посвящены петербургским событиям. В аншлахах мелькали слова: «Кровавая баня», «Бойня», «Кровавое воскресенье», «Революция в Петербурге». С глубоким волнением читал я описание событий этого дня.

Утром рабочие толпы со всех сторон города двинулись к Зимнему Дворцу. Во главе рабочих

Нарвского района шел священник Гапов¹⁾. Рабочие были безоружны, несли церковные хоругви, кресты, иконы, парекле портреты. У Нарвских ворот им преградили дорогу войска. Без предупреждения открыли огонь. Войска стреляли и у Зимнего Дворца, и на Троицком мосту, и на Васильевском Острове. Сотни рабочих убиты, тысячи ранены. Поздно вечером вышли актрисы прибавления. На Васильевском Острове баррикады. ... Повстанцы дерутся с войсками. ... Некоторые воинские части перешли на сторону народа. ... Ждать на вокзале было долго. Время тянулось нестерпимо медленно. Я вышел в город и пошел бродить по незнакомым улицам.

Итак, там идет бой. Строятся баррикады, гремит залпы, льется кровь. С болезненной отчужденностью все происходящее там я чувствовал теперь, как нечто близкое мне, кровно меня касающееся.

Обычной чередой каплялась вечерняя жизнь города. Премела музыка за ярко освещенными окнами кафе. Горлачили песни кучки студентов.

Неоступно сверлила мозг мысль:

— Почему я здесь? Разве здесь мое место?

Еще несколько дней тому назад я не считал себя революционером, и сама революция представлялась мне чем то далеким, каким то отвлеченным понятием. Никаких обязательств я на себя не принимал, — а все же в эту ночь мне было мучительно стыдно, что я нахожусь вдали от борьбы, вдали от опасности, в Мюнхене, а не в Петербурге.

¹⁾ Немецкие газеты называли его правильно.

Без цели бродя по улицам, я наткнулся на группу людей, стоявших около освещенной витрины с ночными телеграммами.

Человек в кепке читал вслух, остальные внимательно слушали. Помните, речь шла о захвате рабочими оружейного магазина. Доиграв до конца, человек в кепке заметил раздумчиво:

— Ну, теперь у них пойдет!

Затем неожиданно обратился ко мне:

— Вы русский?

— Да.

— А, товарищ! Ну, поздравляю вас. У вас теперь все хорошо пойдет. Мы вам всего хорошего желаем. Мы все социалисты.

Кто то сказал:

— Может быть, в редакции — он называл какую то местную газету — новые телеграммы получены? Человек в кепке подхватил меня под руку:

— Походите туда! Это вам будет интересно, да и всем нам тоже.

Долго ходил я с моими новыми знакомцами от редакции к редакции. Читали появлявшиеся в витринах новости, и нам казалось, что дела в Петербурге идут хорошо, что деревес в борьбе все больше склоняется на сторону рабочих.

Лишь на другой день, в Берлине, я понял, что это был самообман, что 9-го января не было восстания, не было борьбы, а была бойня безоружных людей. Казалось, что на этой бойне стремительный поток событий оборвался, что дальше, — по крайней мере, в ближайшие дни, — ничего не будет.

Нечего было спешить возвращаться в Россию...

Но нет! То и дело приходили известия, противоречившие представлению о наступившем после «кровавого воскресенья» затишье.

Пришла телеграмма о том, что восставшие колпинские рабочие идут на Царское Село. Передавали, что Царское Село окружено революционными силами и отрезано от столицы, что Николай II со своей семьей не то бежал за границу, не то собирается бежать. Пришла телеграмма о том, что свещенник Гапон освободил солдат от присяги царю. Шли сообщения о забастовках протеста в Москве, Вильне, Ковно, Киве, Ревеле, Риге, на Кавказе.

В Европе происходили манифестации протеста против петербургских расстрелов. Собирались рабочие митинги, печатались резолюции. В итальянском парламенте социалисты требовали, чтобы правительство выступило официально с выражением негодования против политики царизма. В газетах появлялась рубрика: «Революция в России».

Больше всего внимания уделял России «Vorwärts». Эта газета сделала для меня необходимую, и я дослал, что ее нельзя было достать в ближайших к гостинице кварталах.

Перед моим отъездом из Берлина новую пишу даго газетам изданное русским правительством сообщение, что беспорядки в России подстроены японцами и англичанами с той целью, чтобы задержать отправку на Дальний Восток Балтийской и Черноморской эскадр. Эта выдумка, поимому, была рассчитана на внутреннее употребление. Но она проникла также и за границу

и произвела здесь впечатление, которого авторы выдумки не предвидели. Теперь о российском правительстве говорили и писали, как о собрании людей «в равной мере бесчестных, жестоких и глупых». Особенно резко выступали социал-демократические газеты, на Николае II сводившие свои счеты с Вильгельмом II.

О русском народе, о русских рабочих эти газеты писали братски дружественно, горячо, — для меня это было первое осознательное проявление той «международной солидарности пролетариата», о которой до сих пор я знал лишь из книг...

Приближаясь к русской границе, я упорно думал о событиях последних дней, стараясь понять их внутренний смысл, угадать, что будет дальше, определить свое место в потоке событий.

В воображении вставали картины, обвенные романтической Великой Французской Революции. Но я смутно чувствовал, что все это не то, что эти картины не похожи на действительность 9-го января, как непохожи и на ту неизвестность, навстречу которой я ехал...

На границе — привычная будничная картина. Проверка паспортов, досмотр багажа, жандармы. И дальше все по старому, — ничто не изменилось, ничто не сдвинулось с места.

— Где же революция? думал я: Неужели все это газетные выдумки?

И чем ближе подъезжал я к Петербургу, тем таинственнее казалась мне загадка встревоженной русской жизни.

Отчетливо ясно было лишь одно: что после 9-го января нет возврата к старому.

Это я чувствовал по себе.

* * *

Отдавшись немного в Петербурге, я убедился, что к старому, действительно, не было возврата.

Впечатление, произведенное расстрелом 9-го января на все слои населения России, было огромно.

На митингах, банкетах, собраниях левизну «Долой самодержавие!» теперь рукоплескали люди, которые недавно еще утверждали, что подобные слова во время войны могут срывать лишь с уст тайных агентов Японии.

В Петербурге возбуждение было особенно велико.

Правда, на следующий день после «кровавого воскресенья» рабочие массы казались скованы ужасом и отчаянием. Проклинали Гапона, проклинали социал-демократов, обвиняли их за пролитую кровь. Но очень скоро это настроение сменилось другим, — ненавистью против виновников бойни, жандармской борьбы, жандармской революции. Революционизированью рабочих, усвоению ими урока 9-го января не мало помогла усвоенная Треповым комедия приема царем «рабочей депутации».

Слова Николай II рабочим: «Я верю в честные чувства рабочих людей и в непоколебимую преданность их мне, а потому прошу им вынужденности за живое рабочих, были приняты ими, как издевательство убойцы над павшими жертвами.

Такую же оценку получили эти слова и в петербургских интеллигентских кругах.

Здесь почти каждый был свидетелем того или другого момента разнравнейшей драмы.

Когда я приехал в Петербург — это было до приема царем «рабочей депутации», то есть до 19-го января — в городе только и было разговоров, что о «кровавом воскресеньи». Особенное возмущение вызывали отдельные подробности: стрельба по черковым хоругвам у Нарвских ворот; убийство ребятишек, ввожавшихся на деревья Александровского сквера, чтоб лучше видеть толпу и войска; императорский штандарт, поднятый над Зимним Дворцом, покинутым Николаем, и будто нарочно заманивавший в ловушку шедших к царю рабочих...

Гапон был героем дня, вокруг его имени складывались легенды. В бесчисленных списках ходило по рукам его обращение к народу:

«... Братья — товарищи, рабочие всей России! Вы не станете на работу, пока не добьетесь свободы. Пищу, чтоб накормить себя, и оружие разрезать вам братья, где и как сможете. Бомбы, динамит — все разрезаю... Стройте баррикады, промните царские дворцы и палаты...»

«Солдатам и офицерам, убивающим невинных братьев, их жен и детей, всем угнетателям народа — мое пастырское проклятие! Солдатам, которые будут помогать народу добиваться свободы — мое благословение. Их солдатскую клятву изменнику-царю, приказавшему пролить невинную кровь, разрезаю...»

Вся эта мистика — сочиненная, к слову сказать, не священником Гапоном, а инженером

13

Рутенбергом — казалась необычайно сильной, идущей прямо к сердцу народа.

Университет был закрыт, — в виду тревожных событий начальство решило продлить дольше обычного рождественские каникулы. Наконец, появилось объявление, что занятия возобновятся 7-го февраля. Одновременно стало известно, что в этот день, в 2 часа, соберется в Актовом Зале общестуденческая сходка.

Я пришел в Университет задолго до назначенного часа. Лестница и коридор были уже заполнены студенческой толпой. Говорили об инциденте, происшедшем только что из-за приказа ректора Жданова не пропускать никого в Актовый Зал. Студенты, возмущенные этим приказом, не то выломали дверь, не то насильно отогнали ключи у сторожа, — и Актовый Зал наполнился молодежью. Председательствовал Замитин, студент-торгаш, незадолго до того исключенный из Института. Его пиджак резко выделялся из моря форменных студенческих тужурок.

В порядке дня было два вопроса: 1) Последние события. 2) Как реагировать на них студенчеству?

Речи следовали одна за другою. Содержание их я не помню, — пожалуй, и на другой день после сходки я не сумел бы пересказать их. Да и не в содержании была суть этих речей, а в настроении, в той революционной страсти, которой были полны в эти часы ораторы и слушатели.

Позвучал всероссийской студенческой забастовки был встречен бурей рукоплесканий. Попытался выступить представитель «Денницы», но его не стали слушать. Настроение повышалось все больше

и больше. Когда предложение о забастовке было поставлено на голосование, целый лес рук поднялся над толпой.

— Обратное голосование! провозгласил председатель: Кто против?

Поднялось две-три руки.

В общем шум не слышно было голоса председателя. Напрасно потрениал он в воздухе колокольчиком, пытаясь восстановить тишину. Сходка казалась оконченной. Часть толпы хлынула в двери. Вдруг раздалось:

— Товарищи, не рас-хо-ди-те-сь!

На кафедре, покинутой Замитиным, появился длинноволосый студент в серой тулупке. На момент стихло все, — ждали, что будет дальше. В этот миг за кафедрой, против царского портрета, поднялся высоко над толпой деревянный пест. Раздался треск раздираемого холста.

Кто-то, в задних рядах, крикнул:

— Не надо!

Но огромная дыра уже зияла в портрете¹⁾.

— Долгой самодержавие! гудел чей-то громовый бас.

Оцепенение, на мигновение озадавившее толпу, уже прошло. С криком «ура», дав друг друга, студенты ринулись вперед на астраху, на шторм царского портрета. Рвали из волооченой рамы покрытый краской холст; пестрые клочки мелькали в воздухе.

¹⁾ Последствия передавали, что инициаторами этого акта были студенты-анархисты. Не знаю, насколько это верно.

Было что то ребяческое в радостном возбуждении этих минут. Но трудно было не поддаться общему порыву...

Когда я выбрался в коридор, держа в руках порядочный лоскут холста, ко мне подошел знакомый молодой человек в штатском и, отрендовываясь «представителем американской печати», просил меня уступить ему мою добычу.

— Это очень интересно для газет, объяснил он на ломанном русском языке: у меня есть несколько кусков, но я хотел бы еще...

У него, действительно, все карманы уже были набиты реликвиями.

Вокруг нас сменялись: американец, собирающий клочки крашеного холста, казался безобидным чудачком. Но я тогда же подумал, что это не пустое чудачество, что молодой журналист правильно уловил значительность того, что произошло в Антовом Заге...

* * *

С середины февраля академическая забастовка охватила все высшие учебные заведения. Но студенты не раз'езжались из Петербурга. Оставались открыты университетская библиотека, общежитие и столовая; продолжала функционировать часть научных кружков. Университет с пустыми, закрытыми аудиториями оставался центром студенческой жизни.

Здесь мы получали нелегальные издания, толкывали — по обыкательски — о политике, узнавали новости.

А новости были такие, что от них все тревожнее билась сердца.

С театра военных действий приходили известия о новых поражениях. Рассеялась легенда о «героической» обороне Порт-Артура. В конце февраля русская армия была разбита под Мукденом, 15-го мая погибла эскадра Рождественского под Цусимой.

Непрерывной волной шли рабочие беспорядки. Для рабочего класса России зальи 9-го января прозвучали, как звон набатного колокола. Забастовки ярко революционного характера прокатились по всем промышленным районам, — от Польши до дальней Сибири, от Прибалтийского края и Финляндии до Закавказья. Во многих местах были столкновения с войсками, порой баррикадные бои.

В феврале начались частичные железнодорожные забастовки, — местами с экономическими требованиями, местами в знак протеста против бойни 9-го января.

С огромным волнением следили мы за кампанией, разгоревшейся в связи с комиссией сенатора Шидловского, образованной «для безотлагательного выяснения причин недовольства рабочих в гор. С. Петербурге и его пригородах и изыскания мер к устранению таковых в будущем»¹⁾.

Успех этой кампании в не малой степени способствовал росту престижа рабочего класса в глазах интеллигенции, в частности, в глазах студенчества. После 9-го января все признавали героннам петербургских рабочих; но трудно было при-

¹⁾ Не останавливаясь здесь подробнее на этой страничке истории нашего рабочего движения, так как в то время, хотя и в ходе ее оставалось мне неясно.

²⁾ Войтинский.

внять политически вредной массу, шепчущую за
Законом. Комиссия Шидловского являлась не-
доставшим свидетельством сознательности
этой массы.

Указ 18 февраля о «предоставлении частным
лицам и учреждениям подавать царю проекты по-
вопросам государственного благоустройства» до-
ставил либеральной оппозиции опорный пункт для
наступления против «бюрократического строя». Уси-
лилась кампания съездов, банкетов, петиций. Все
громче в хор либеральных ходатайств врывался
голос передовых рабочих.

Весной вспыхнули аграрные волнения. Со всех
концов России шли известия о захвате крестьянами
помещичьих земель, о разгроме усадеб.

А в июле усилились волнения в войсках. Пришли
вести о беспорядках в гвардейских эскадрах. На-
конец, взвился красный флаг над «Потемкинским
Таврическим».

Было ли это — революционное восстание
или случайная вспышка темного бунта?

В вапике, оставленной на свезенном на берет
труп убитого матроса, команда броненосца так
осветила причины своего возмущения:

«Господа офицеры, перед вами лежит труп
зверски убитого старшим офицером броненосца
«Князь Потемкин Таврический» матроса Вакулен-
чука за то, что он осмелился заявить,
что борщ никогда не годится. Товари-
щи! Осеним себя крестным знаме-
нием и постоим за себя. Смерть угнета-
телям! Смерть вапикам, да вправствует свобода!»

А пять дней спустя, та же команда извещала
«весь цивилизованный мир»:

«Царское правительство решило, что лучше уто-
пить страну в народной крови, чем дать ей свободу
и лучшую жизнь...»

«Однако, обезумевшее самодержавие забыло одно,
что темная и забитая армия — это сильное оружие
его кровавых замыслов — есть тот же самый народ,
есть те же самые сыны трудящихся масс, которые
решили добиваться свободы. И армия рано или
поздно поймет это и сбросит, наконец, с себя по-
ворное пятно палачей своих же отцов и братьев.
И вот мы, команда всецеленного броненосца «Князь
Потемкин Таврический», решительно и еди-
нодушно делаем этот первый вели-
кий шаг.

«Мы требуем непрерывной при-
остановки бессмысленного крово-
пролития на полях далекой Ман-
чжурии. Мы требуем неперменного
союза Всероссийского Учреди-
тельного Соборания на основе все-
общего, прямого, равного и тай-
ного избирательного права. За эти
требования мы единодушно готовы, вместе с нашим
броненосцем, пасть в бою или выиграть победу».

Это было самое крупное событие в хронике ре-
волюционной борьбы, — и ни у кого не являлось
сомнения, возможен ли столь быстрый переход от
борьбы к Учредительному Соборанию...

Негерьальная печать горячо обсуждала вопрос
• предостанком вооруженном восстании,
— о способах борьбы с артиллерией, пехотой и
с»

конницей, о постройке баррикад, об организации штабов, о том, какие пункты города и в каком порядке должны занимать повстанцы. Казалось, поток событий стремительно несет нас к этой «последней схватке» народа с его врагами.

6-го августа появился манифест о созыве законодательной Государственной Думы. Либеральная оппозиция, после некоторых колебаний, склонилась к тому, чтобы «принять» детские Булыгина. Лозунгом социалистических партий и радикально-демократических групп стал бойкот¹⁾.

Закипела борьба между либералами и революционерами вокруг вопроса о Думе. В ходе этой борьбы все отчетливее вырисовывалась мысль о восстании в связи с созывом Думы, — быть может, в тот самый день, когда Дума приступит к работам.

Лето 1905 года я провел на даче под Петербургом. Газетные известия о революционном движении действовали на меня почти так же, как в январские дни.

В течение всего этого периода, от января по сентябрь 1905 г., гегемоном революционного движения в России явно был пролетариат: рабочая кровь лилась в Петербурге, Лодзи, Варшаве, Нижнем Новгороде, Одессе. Было что то захватывало, величественное и вместе с тем бесконечно трагическое в этом самопожертвовании тысяч простых, малообразованных людей во имя спасенья

¹⁾ Особую позицию, отличную и от «принятия» Государственной Думы и от «бойкота», заняла заграничная «Искра». Но эта позиция не была понята даже многими меньшевистскими организациями в России и, во всяком случае, не оказала заметного влияния на широкие общественные круги.

страны от душашего ее самодержавного строя. Рядом с величием этих жертв, рядом с выступлениями рабочих масс, незначительной, почти жалкой казалась роль других общественных групп.

И это создавало неотразимо яркий ореол вокруг партии, поставившей свою целью — освобождение рабочих силами самих рабочих.

Как многие интеллигенты, и я испытал на себе типичное героическое возбуждение пролетариата. С каждым днем все сильнее тянуло меня принять активное участие в этой борьбе.

И по мере того, как меня увлекало рабочее движение, все яснее становилась для меня теория марксизма, еще недавно казавшаяся мне «указкой» и «недостаточно научной».

Осенью 1905 г. я не был еще вполне последовательным марксистом, но уже чувствовал себя социал-демократом и горел нетерпением занять место в рядах социал-демократической партии.

* * *

Вернувшись в Петербург после летних каникул, я принялся разыскивать связи с социал-демократической партией. Встретился в канцелярии Университета с Борисом Бразодем, секретарем кружка политической экономии. Он был твердолобым марксистом и считался в кружке «партийным» социал-демократом.

— У меня к вам просьба, сказал я ему: Я хочу вступить в партию, — укажите мне, куда обратиться. Бразоль притворился удивленным:

— В какую партию вы хотите вступить?

переспросил он меня.

— В социал-демократическую.

— Но ведь вы не марксист!

— Я считаю себя социал-демократом.

— Без трудовой теории ценности? Без материалистического понимания истории?

— Успокойтесь, и с тем, и с другим.

— Это меняет дело. Заходите ко мне завтра, я познакомлю вас с одним товарищем.

У Бразоля я застал незнакомого мне студента¹). Маленький, подвижный, с огромной бородой, с блестящими, живыми глазами, с уверенными манерами, с насмешливой речью, — он, с первого же взгляда, напомнил мне гнома из сказки.

Начался вопрос.

— Вы знакомы с программой Эр-Эс-Да-Эр-Па?

— Как вы сказали?

— Я спрашиваю, знакомы ли вы с программой Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.

— В общих чертах...

— Но название «Эр-Эс-Де-Эр-Па» для вас ново?

— По правде, да. Я не обращал внимания...

— Да может быть, вы вовсе не эдак, а эсер?

— Товарищ Бразоль, вероятно, уже передал вам, что я считаю себя социал-демократом, хочу работать в социал-демократической партии, готов подчиняться партийной дисциплине.

Переглянувшись с Бразолем, гном сказал мне:

— Это прекрасно, но самое существенное: большевик вы или меньшевик?

— Это был А. Я. Каппан.

— Должен признаться, что я плохо разбираюсь в разногласиях между фракциями.

— Неужели? Но ведь это так просто! Прежде всего, вы за революционную борьбу или за соглашательство?

— За революционную борьбу.

— Это и есть точка зрения большевиков. Теперь следующий пункт. Как относитесь вы к участию социалистов во временном революционном правительстве?

— Я не знаком с этим вопросом.

— Но тут и вопроса нет! Неужели, низвергнув самодержавие, мы передадим все плоды победы в руки наших классовых врагов, в руки либералов, готовых в любой момент изменить революции? Ведь это было бы безумием! Вы согласны со мной?

— Да, но я хотел бы...

— Вы хотели бы знать аргументы меньшевиков? У них нет никаких аргументов! Ничего, кроме собственного мелкой буржуазии страха перед революцией. Поверьте мне! А теперь третий пункт: как относитесь вы к Бундлинской думе?

— То есть?...

— Вы сторонник участия в Думе, где либералы будут продавать царизму интересы народа?

— Разумеется, нет.

— Ну и прекрасно! Значит, вы большевик! Будем вместе работать. Вашу руку, товарищ! Остаются оговориться о подробностях. Какую работу хотели бы вы взять на себя?

Немного смущенный той успешностью, с какой гном зачислил меня в большевики, я признался,

что не яно представляю себе, в чем именно могла бы заключаться моя работа.

— У нас имеются три вида работы, объясни мне мой собеседник: агитаторская, пропагандистская и организаторская. Организаторская работа не подойдет вам, раз вы не знакомы с историей фракционных разногласий. Пропаганда была бы скорее по вашим силам, но вы, кажется, насчет марксизма не очень тверды... Принимайтесь за агитацию!

— Согласен.

— В таком случае, мы вам сейчас район назначим...

Бородач, перелистывая крошечную книжечку, что то соображал. Бразоль предложил:

— Давайте пока Войтинского к нам!

— Это идея. Значит, университетский подрайон интеллигентского района. Прощайте, товарищи! Мне некогда.

Отметив что то в своей книжке, тном пожал нам руки и поспешно вышел.

По уходе его, Бразоль объяснил мне, что я принят в большевистскую организацию Социал-Демократической Рабочей Партии; что во главе этой организации стоит Петербургский Комитет; что вся организация разбита на районы, соответственно территориальному делению города, при чем высшие учебные заведения выделены в особый «интеллигентский район»; что я приписан к университетской ячейке этого района, и что на меня возложена агитаторская работа, то есть, выступления на собраниях, где я должен буду проводить директивы центра. В заключение Бразоль передал мне при-

глашение — явиться на следующий день в 8 часов вечера по такому то адресу.

* * *

Явившись туда, я попал на заседание университетского большевистского комитета, который, оказалось, успел уже кооптировать меня в свой состав. Заседали мы в бедно обставленной студенческой комнате. Кроме Бразоля и меня, присутствовали еще три человека, — все они показались мне хорошими ребятами, но недалекими, немного бесцветными. Один за весь вечер не прооронил ни слова, лишь улыбался, показывая два ряда белых зубов, да кивал головой. Другой изредка вскакивал в разговор короткие, ничего не значущие реплики. Третий — ховин комнаты — говорил много и скучно.

Начали с организационных вопросов. Комитет конструировался в составе пяти человек. Распределили функции: ховин комнаты — организатор подрайона и представитель университетского комитета в «районе», Бразоль — секретарь, молчаливый студент с белыми зубами — заведующий «техникой» (то есть, печатанием листов). Меня, после краткого обмена мнениями, назначили комитетским «оратором», решив, что я буду выступать от имени комитета на предстоящих сходках. Тут же предложили мне избрать партийный псевдоним и я, немного думая, «присвоил» себе первое пришедшее на ум имя — «Сергей Петров».

Сходок предстояло несколько, так как изданный 27-го августа указ об автономии высших учеб-

ных заведений ставил перед студенчеством множество новых вопросов. Но решающее значение должна была иметь ближайшая сходка, назначенная на 13-ое сентября. По поводу нее «организатор» представил нам обстоятельный доклад.

Первую сходку, говорил он, нам придется посвятить целиком тактическому вопросу: продолжать ли объявленную в феврале забастовку, или открыть Университет?

Взгляди на этот вопрос «районного комитета» так: продолжать забастовку нет смысла; Университет, как и другие высшие учебные заведения, нужно открыть и использовать для революционной работы. Эта тактика рекомендуется студенчеству Центральным Комитетом Партии¹⁾. «Организатор» ознакомили нас при этом с обращением Центрального Комитета «ко всей учащейся молодежи». «К моменту выборов (в Государственную Думу), говорилось в этом обращении, должны быть мобилированы все силы революции, должны быть готовы к решительной борьбе и «каждый человек и каждая группа». Для этого вы должны собираться в университетских городах, вы должны воспитываться вашими аудиториями, как трибунами для обличения правительства, как местом для революционных штатов ваших «дегенов». Для этого, а не для мирных занятий, вы должны открыть учебные заведения... Вы слышите аудиторию и все те удобства, которые предоставляют учебные заведения, чтобы совместно с пролетариатом немедленно же начать подготовку к вооруженному восстанию, этому един-

¹⁾ Большевистским.

ственному исходу русской революции. Широко агитировать идею восстания, знакомить товарищей с задачами и техникой политической борьбы, выработать целесообразные формы организации для боевого момента, организовать боевые дружины, содействовать мобилизации пролетариата — за все это должно немедленно приниматься революционное студенчество, и для этой цели оно должно обратиться к вузам университетов и институтов в штаб-квартиры своей революционной работы».

Таким образом, Центральный Комитет, предлагая нам прекратить забастовку и открыть Университет, подчинил всю нашу тактику идее вооруженного восстания.

Когда произойдет восстание и чем будет эта последняя и решительная схватка народа с царизмом, мы не знали. Но пока что нам и не приходилось задумываться над этим вопросом, — от нас требовалось лишь открыть Университет.

Почти без прений мы приняли предложение Центрального Комитета. Тут же набросали проект резолюции и перешли к выработке подробностей ведения предстоящей сходки.

Наметили президиум: председатель Энгель (примыкающий к нашей группе), при нем два товарища председателя, — один наш, другой — по выбору остальных. Условились относительно порядка дня. Наконец, постановили, что я должен буду выступить на сходке два раза: сперва — с докладом, а позже — с ответом противникам.

* * *

Готовясь к выступлению, я заинтересовался узнать, что пишет по стилистике перед нами вопросом «Искра».

Еще в июле (в № 107) «Искра» наметила широкий план тактики студенчества. Наибольшее значение гавела придавала тем услугам, которые могут оказывать студенты революционной толпе в качестве интеллигентных агитаторов, с одной стороны, в качестве лиц, обладающих специальными техническими знаниями, с другой. «Организованные уже в силу группировки своей по учебным заведениям, писала «Искра», эти тысячи легко возбуждающейся молодежи являются отличным проводником революционного тока и при начале великих массовых выступлений, и в частности, при начале народного восстания, могут оказаться незаменимым орудием в руках революционных партий. Роль, которую студенты играли во всех революционных припостройке и защите баррикад, при всяких «военных» действиях, восставших народных масс, достаточно известна, чтоб не останавливаться на ней. Отсюда ясно, что в интересах революции в высшей степени важна концентрация студентов в тех крупных центрах политической жизни, какими являются наши университетские города, и поддержание той организованности студенчества, которая дается регулярным общением между ними в стенах высших учебных заведений. Под этим углом зрения и должен быть пересмотрен вопрос о тактике студенчества теперь, когда наряду с дальнейшим «подготовлением» революции, на очередь дня все более и более выдвигаются непосред-

ственные боевые действия народных масс».

Развивая далее ту же мысль, «Искра» писала:

«Мы должны готовиться к активным боевым действиям масс. Разумеется, и раздробленные и разбросанные по всей стране студенты могут, каждый в одиночку, принимать участие в этих массовых выступлениях и играть в них известную политическую роль. Но именно только в одиночку. Вся же сила, которая создается коллективно организованностью студенчества, идет при этом на смарку».

В этих пределах рекомендуемая «Искрой» тактика совпадала вполне с тактикой Центрального Комитета и точно так же подчинялась идее предосторожного вооруженного восстания. Но дальше в «Искре» шли предложения, которых не было в обращении Центрального Комитета.

«Студенчество вернется в университет не для того, чтобы мирно вкушать плоды подценурной науки, а затем, чтобы своими наступательными действиями освободить науку от той цензуры, которую налагает на нее полицейское самодержавие. «Захватное право» должно водвориться в академических залах. Систематическое и открытое нарушение всех правил полицейско-университетского «распорядка», игнорирование правил, инспекторов, надсмотрщиков и шпионов всякого рода, открытие дверей аудиторий всем гражданам, желющим войти в них, превращение университетов и высших учебных заведений в места народных со-

браний и политических митингов — вот цель, которую должно поставить себе и выполнить студенчество при возвращении в покинутые им залы. Превращение университетов и академий в достояние революционного народа, — так можно кратко формулировать задачу студенчества¹⁾).

Этот план показавшись мне одновременно и сложным, и неосуществимым: раз-другой, думалось мне, быть может, и удастся устроить в стенах университета народный митинг, но на этом дело неизбежно оборвется...

Наоборот, организация студенческих легионов и вся прочая военно-техническая программа Центрального Комитета представлялась мне вполне реальной. Сомнение вызывал лишь вопрос, целесообразно ли говорить открыто, на сходке, о подобных вещах.

Поголковав с товарищами, я убедился, что и они к искровскому плану «превращения университетов в места народных собраний» относятся весьма скептически. Советовали мне не касаться в моей речи этого вопроса, а больше настаивать на том положении, что к моменту восстания необходимо концентрировать силы студенчества в столицах и университетских городах. Этот аргумент представлялся нам неубедительным.

Настал день сходки. Опыт наполнился Актовый Зал. Все в нем по старому, только портрет за кафедрой окутан серым покрывалом, будто в за-

¹⁾ Как я узнал значительно позже, основная мысль этого плана принадлежала В. И. Засулину.

питу от пыли, да у дверей и выходящих на корридор окон видны блестящие, свежее покрашенные ставни, — изобретенное бывшим ректором Ждановым «блестящее укрепление», рассчитанное на то, чтобы предупредить самовольный захват зала студентами.

В толпе много курсисток, среди университетских тузюрок мелькают наглые знаки технологий, путейцев, политехников.

Состав президиума утверждается единогласно. Энгель занимает председательское место и от имени Коалиционного Совета предлагает порядок дня.

После небольшой стычки адептов с эсерами — не помню, по какому поводу — порядок дня принимается, и сходка переходит к вопросу о современном положении. Слово дается представителем партия.

От эсеров выступил Норский, молодой человек подготовленного вида, с закрученными кверху усиками, в блестящем мундирчике, — но при этом превосходный оратор.

Его аргументация сводилась к двум положениям: 1) ничего не изменилось с февраля прошлого года, когда была провозглашена студенческая забастовка, и потому прекращение этой забастовки было бы бегством с поля сражения; 2) в провинции студентов ждет широкое поле работы в виде пропаганды среди крестьян, и интересы этой работы требуют, чтобы высшие учебные заведения оставались закрыты.

Я отвечал Норскому. Это было мое первое политическое выступление.

По форме, моя речь уступала речи представителя эсэров, но она больше соответствовала настроению сходки и потому имела успех.

После меня поднялся на кафедру полный, приземистый блондин в студенческом сюртуке. Его появление вызвало смех и протесты со стороны части сходки.

С большим трудом Энгель восстановил тишину. Но когда блондин заговорил о «наших национальных задачах» и о «русском национальном знамени», раздался свист, послышались крики «подой», и оратор должен был покинуть трибуну.

Я стоял подле самой кафедры, когда Энгель знаком подовзал меня и показал переданную ему из толпы записку:

«Прошу слова. Рабочий Петр.»

— Как быть? спрашивал председатель: Собственно говоря, постороннее лицо... А сходка — студенческая...

— Пусть же, возразил я, дайте ему слово, как нашему гостю.

Энгель так и сделал.

Посреди шумных аплодисментов поднялся на кафедру молодой парень в высоких сапогах, в пиджаке поверх голубой косоворотки. Тонкое красивое лицо, русые волосы с пробором, движения самоуверенные, голос звонкий, как сталь.

Это был слесарь Старостин, член социал-демократической партии.

Человек смелый, решительный, с большим революционным темпераментом, и при этом страстный патриот рабочего класса, Старостин мог бы сыграть заметную роль в нашем рабочем движении,

но он промелькнул, как метеор, в 1905 г., а затем был арестован и на долгие годы сошел со сцены. Когда в 1917 году он вернулся из Сибири и вновь выплыл на поверхность движения, в нем уже трудно было узнать того молодого рабочего, который с таким блестящим выступал на сентиментских митингах...

Впечатление от слов Петра, — и даже не столько от его слов, сколько от самого факта появления рабочего на студенческой сходке, — было огромное. И это сказалось при вторичном выступлении моем и Норского: теперь уже не могло быть сомнения в том, что большинство на моей стороне.

Ссылаясь на прием, оказанный присутствующими речи Старостина, я призывал студенчество идти по пути сближения с пролетариатом, а заключительную часть своей речи я повятил доказательству преимуществ нашей тактики с точки зрения различных групп студенчества: желающие могут ехать в деревню, вести работу среди крестьян, как предлагают эсэры; желающие пойдут в рабочие кварталы, куда зовут их эдаки; желающие будут посещать лекции и готовиться к экзаменам; но важно, чтобы студенчество в целом подтвердило, что Университет, всеми своими силами и средствами, продолжает служить революции.

Этим закончились прения.

Сходка перешла к голосованию резолюции. Протокол было предложено много, но борьба велась лишь между эсэрами, предлагавшими бастовать до конца, и нами. В конце концов, подавляющим

⁴Водкински.

большинством¹⁾ была принята наша резолюция, за исключением части которой гласила:

«... принимая (все это) во внимание, мы, студенты Петербургского Университета, сообразившись на сходку 13 сентября 1905 года, постановили:

«1) отложить об'явление забастовки вплоть до того момента, когда это будет выгодно по соображениям революционной тактики;

«2) исключительно в этих целях (т. е., в видах перехода к более действенным средствам борьбы) открыть Университет для развития в его стенах и вне их широкой работы по подготовке двигающейся решительной борьбы;

«3) использовать все средства к усилению революционной деятельности студенчества путем устройства всенародных митингов и организации академического легиона, как одного из отрядов, примыкающих к великой армии борющегося за народную свободу рабочего класса.

И пусть наш открытый Университет будет для самодержавного правительства еще более опасен, чем был для него Университет бастующий²⁾.

Университетская забастовка была, таким образом, ликвидирована³⁾. Об'явив, что следующая

¹⁾ За нашу резолюцию было погано 1702 гот, при 243 против (сторонники саровской резолюции) и 77 воздержавшихся (правые).

²⁾ Текст резолюции воспроизведен по корреспонденции в № 20 вагрянного «Пролетария». Корреспонденция отмеждет между с. р. и с. д., почти исключительно большевиками. Да и сама резолюция определено отвечает на вопрос, какая из фракций с. д. была руководительнейшей.

³⁾ В 20-х числах сентября, в связи с событиями в Москве, асары пытались вновь поднять вопрос о забастовке высших учебных заведений, но неудачно.

сходка будет созвана Коалиционным Советом, Эвгелъ выкрал собрание.

Около этого времени шли сходки и в других высших учебных заведениях. Повсюду торжествовала та же тактика — прекращение забастовки в интересах революции. Кое где происходили горячие споры между представителями студенчества и профессорами по вопросу о возможности «революционного использования» высших учебных заведений. В некоторых революционных ясные подчеркивались идеи устройства в стенах высших учебных заведений народных митингов, но, насколько помню, нигде эта мысль не приволилась в связь с широкой кампанией, проектированной в «Искре».

А между тем, не прошло и двух недель с описанной сходки, как в высших учебных заведениях водворилось предусмотренное «Искрой» «революционно-захватное право», — началась «митинговая кампания», которой суждено было сыграть столь крупную роль в дальнейшем развитии событий 1905 года.

* * *

Митинги в высших учебных заведениях явились прямым продолжением студенческих сходок. Невинные сходки превратились в революционные митинги в результате того, что в стены высших учебных заведений, защищенные от набегов полиции указом об автономии, проникла рабочая толпа.

В небольшом числе рабочие присутствовали на студенческих сходках с самого начала, с первого дня. Я не уверен в том, что это были сплошь революционные.

людионно сознательные рабочие, члены партийных организаций, — скорее, они производили впечатление людей, попавших на собрание случайно, из любопытства.

Но вскоре из случайных гостей они превратились в активных участников и фактических хозяев этих собраний.

В Университете первым из рабочих поднялся на кафедру Старостин, вторым обратился к студентам Ушаков. Это было 19-го сентября, во время схода, посвященной вопросам академической жизни.

Ко мне подошел протискавшийся вперед человек средних лет, с русской бородкой, в сером пиджаке. Лицо у него было бледное, манеры робкие, голос тихий, почти просительный.

— Я, товарищ, от 3 000 рабочих бумагу принес... Если господам студентам интересно, может быть, доложите?

На листе бумаги, который он передал мне, стояла печать «С. Петербургского Общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве».

Содержание бумаги было таково:

До рабочих дошло, что студенты Петербургского Университета подают в Совет Профессоров заявление «с ходатайством о том, чтобы сделать Университет народным и допускать на лекции всех желающих, в особенности рабочих»¹⁾. С Петербургское Общество Взаимного Вспомоществования

¹⁾ О таком ходатайстве в Университете не было речи. Но подобная мысль, помнится, высказывалась на курсах Лесгафта и в других высших учебных заведениях.

приветствует это начинание, как «вполне назревшее и существенно необходимое для рабочих, так как они давно уже выступили на поприще политической и общественной жизни». Закачивалась бумага заявлением, что «рабочие, со своей стороны, готовы посещать лекции, предназначенные для них по содержанию и по духу времени». Внизу стояла подпись председателя Общества: Ушаков, — имя, ничего мне не говорившее.

В восторге от этого обращения рабочих, я немедленно передал бумагу Энгелью, и наш председатель громогласно прочел ее целиком — от обращения к «г. студентам» до подписи. Сходка встретилась заявлением Общества Взаимного Вспомоществования рукоприкладчиками. Человек, от которого я получил бумагу, горячо благодарил меня за оказанное ему содействие.

Но только отошел он от кафедры, как ко мне подскочил один партийный товарищ:

— Вы знаете, кто это разговаривал только что с вами?

— Нет.

— Это Ушаков!

— Ну, да, Ушаков, председатель общества рабочих. Что же с того?

— А то, что это опасный провокатор. Гнать его в шею следует, из окна выбросить, а не бумаги от него принимать, да сходке докладывать!

Но дело было сделано. Разъяснить публично происшедшее недоразумение, значило бы увеличивать скандал, — и мы ограничились тем, что решили впредь быть осторожнее.

Отмечу, что Ушаков не был провокаторм охраником вульгарного типа. Это был последний полицейского социалиста Зубатова. В революционные организации он не лез, так что едва ли охранка могла пользоваться им, как осведомителем. Его «Общество» действовало, главным образом, среди рабочих Экспедиции Заготовления Государственных Бумаг, поддерживая здесь дух умеренности, аккуратности и чинопочитания.

Я встречался с этим человеком два раза: первый раз на сходке, второй раз в квартире приват-доцента В. Святловского. Оба раза Ушаков казался мне маленьким пришибленным человечком. А между тем, ему суждено было сыграть крупную роль в судьбах России, — и на эту роль лишь недавно пролился свет «Воспоминания» г-р. Витте, который видел в Ушакове «лидера рабочей партии» и весьма выдающегося человека.

По рассказу Витте, именно Ушаков накануне 17 октября сумел убедить великого князя Николая Николаевича в необходимости для России конституции, и при том так основательно внушил эту мысль царскому дяде, что тот отправился к царю и угрозою застрелиться на его глазах заставил Николая II подписать знаменитый манифест (см. *Mémoires du Comte Witte*, стр. 219—220).

Я оставлю, разумеется, эту историю на ответственности Витте и тех, на чьи показания он ссылается — П. Дурново и барона Фредерикса. Об Ушакове упомянул я лишь для того, чтобы отметить, кто первым конкретно поставил вопрос об устройстве в Университете специальных собраний для рабочих.

26
По собственной ли инициативе действовал в данном случае Ушаков, или по предписанию начальства, я не знаю, но, во всяком случае, именно после его заявления сходка постановила устраивать по вечерам рефератные собрания на политические темы для рабочих, — и это было первым шагом в сторону превращения Университета в открытую политическую трибуну.

Дальнейший шаг в этом направлении мы сделали под влиянием нового выступления Старостина. Молодой слесарь, гордый своим успехом на первой сходке, с тех пор посещал все собрания в Университете. И вот, в разгар прений по какому-то специально-студенческому вопросу — чуть ли не о предметной системе — он потребовал себе слово и обрушился на студенчество:

— Что же вы делаете, товарищи? Открыли Университет для революции, а на самом деле, Бог знает, чем занимаетесь. Все пустышки какие-то. В которых мы, рабочие, и понять то ничего не можем. Мы, рабочие, вас за товарищей считаем, и все-таки хотим вместе с вами идти, до полной победы или до смерти в борьбе!

Во время немногих неслучайных речи молодого слесаря студенчество чувствовало себя в чем-то виноватым перед ним и перед его товарищами — 9-го января.

Старостина прерывали аплодисментами, криками «правильно», «верно». Когда он кончил, председатель счел необходимым благодарить его от имени собрания.

Тут же было решено немедленно приступить к устройству намеченных еще 19-го сентября

Актовый Зал, а смешанную публику перевести в соседнюю аудиторию.

В другой раз также неожиданно узнаем о приезде целого завода: утром по мастерским сговорились идти всем в Университет, и вот пришли тысячной, дружной толпой.

Однажды появились в Университетском коридоре странные фигуры: в длинных армяках, в валенках, в рукавицах, в меховых шапках, с кнутами в руках. Иавозчики!

Их обступили, принялись расспрашивать, как они сюда попали. Иавозчики объясняют словохохотливо:

— Мы у Тучкова моста стояли. Сколько раз видели, в университете огни горят, и народ собирается, вроде как в театр. А сегодня барин один объяснил: туда, говорит, без билетов пускают, студентайте, говорит, и вы, — послушайте, как царя ругают.

Немедленно откомандировали одного студента к извозчикам — сопроводить их и объяснить непонятные слова в речах ораторов. Иавозчики остались очень довольны оказанным им приемом и тем, что слышали, и лишь жалели, что не могли побыть на митинге попольше, — боялись за пролетки, оставленные на Университетской линии.

Столь же неожиданно нагрянули в Университет гимназисты и гимназистки. Мы ответили им аудиторию и представили им самим охранять двери от «посторонних». Спустя полчаса к нам прибыла делегация гимназического митинга: просили дать им «партийных ораторов».

С каждым днем все больше становились наплыв посетителей.

Стало тесно и в Актовом Зале, и в аудиториях. И вот, в один прекрасный день, поднялся на кафедру рабочий — какется, все тот же неутомимый Старосин — и обратился к собранию с такой речью:

— Мы, рабочие, сюда за десять верст идем, через весь город лупим, а приходим, — оказывается, места нет. Как же мы так революцию слезаем? Очень на это товарищи обижаются. Другой иностранных слов не понимает, да еще у двери стоит, так даже и не разберет, о чем товарищ оратор говорит. Раз он пришел, другой раз пришел, а в третий раз его на митинг и не заманишь... Правильно я говорю, товарищи?

— Правильно!

— А между прочим, здесь много товарищей студентов. Им митинги не так нужны, как нам, рабочим. А к тому же, они и по утрам собираются, а нам, рабочим, только и возможно, что вечером. Значит, будем просить товарищей студентов по вечерам в Университет не приходить, кроме тех, которые ораторы.

Многим студентам это предложение показалось неуместным. Иные почувствовали себя не на шутку обиженными. Но с этого дня на вечерних митингах студенты почти не появлялись, — приходили лишь партийные — те, что должны были выступать с речами или несли обязанности распорядителей.

А в некоторых высших учебных заведениях, как мне передавали, прямо было постановлено: в виду

недостатка мест, студентов и курсисток на митинги не допускать.

В начале октября состав митингов выравнивался: это была почти сплошь рабочая масса, преобладали фабрично-заводские рабочие с окраин.

Ораторы, выступавшие на митингах, делились на две резко отличные группы: постоянные ораторы, выступавшие изо дня в день; и ораторы случайные, появлявшиеся неведомо откуда.

Среди постоянных ораторов наиболее значительную группу составляли социал-демократы большевики: меньшевики и эсеры мобилизовали свои силы несколько позже¹⁾.

Темы речей были довольно разнообразны. Комментировали газетные сообщения о развитии революционного движения в России. Разъясняли партийную программу — целиком и по пунктам. Говорили об Учредительном Собрании, о профессиональном движении на Западе, о 8-часовом рабочем дне.

С большим интересом ловила толпа рассказы о прошлом революционной борьбы в России, — первым избрал эту тему эсер, выступавший под кличкой «Монтер», — один из лучших ораторов университетских митингов²⁾. Были попытки превратить митинговую речь в популярную лекцию на ту или иную историческую или политическую тему. Эти попытки встречали со стороны рабочей толпы большее сочувствие. Но, к сожалению, у партийных

¹⁾ Если не ошибаюсь, меньшевистская работа в Петербурге была в то время ослаблена большими провалами, связанными с деятельностью провокатора «Николая-Золотые Очки» (Доброскока).

²⁾ Это был Евгений Колосов.

ораторов не было ни достаточной подготовки, ни сил, чтобы удовлетворить страстную жажду знания слушателей. А те, кто мог бы в этом деле прийти им на помощь, отвернулись от митингов, испугавшись их внешней сумбуристности.

Эта сумбуристность создавалась, главным образом, выступлениями случайных ораторов. Их речи не всегда нравились толпе, порой даже вызвали выражения нетерпения.

Помню, как то раз, в Военно-Медицинской Академии говорил молодой рабочий. Говорил он о том, что рабочим живется тяжело, что заработка не хватает, что расценки несправедливы, что мастера ни с чем не считаются. Говорил с искренностью глубоко обиженного человека, со слезами в голосе. А слушали его холодно, невнимательно. И в самом патетическом месте его прервал чей то насмешливый голос:

— Ты, Степка, и в заводе довольно наговорился. Ты бы теперь помогал: пусть другие говорят, которые побольше твоего знают!

Степка так и не пришлось кончить речь.

Порой очередной оратор-рабочий завывал соборно:

— Товарищи! Я вам свой стих прочитаю. Моё сочинения. Об нашей жизни ... Очень хороший стих.

Стихи всегда были наивные, неумелые, но искренные, проникнутые горячим чувством).

¹⁾ Почему то со стихами выступали почти исключительно ремесленные рабочие, типографщики, прикащики. Фабрично-заводских поэтов на сентябрьских митингах я не помню.

Появлялись на митингах и совсем фантастические личности. Большим успехом пользовался высокого роста старик с седой бородой во всю грудь. Он носил под армянком бутфорский меч и говорил вычурно по старинному.

— Хотите знать, чего хочет народ? обычно начинал он свою речь: Все, чего хочет народ, здесь написано. Слушайте!

И вытаскив из-за пазухи лист бумаги, он читал, отчеканивая каждое слово:

«... И чтобы не было ни дворян, ни мешан, а одни горожане...»

«... И чтоб выбрать всем от тысячи купцов одного купца, и от тысячи попов одного попа, и от тысячи генералов одного генерала, и от тысячи солдат одного солдата, и от тысячи мужиков одного мужика, — и как положат они, так и быть по сему». Или подымет над головой свой бутфорский меч и, потрясая им в воздухе, провозглашает:

— Эту вострую мечь дал мне народ, чтобы поразить врагов его, главного змея и змеенышей...»

Повидимому, это был просто сумасшедший. Называл он себя «Отец Юпитер».

Однажды, после окончания митинга, он остановил на лестнице толпу и заставил повторять за собой:

— Долгой царя! Долгой Бога! Долгой чорта!

В смысле политическом митинговая кампания осени 1905 г. сводилась к расплывчатому лозунгу «борьбы с самодержавием».

Правая пресса уверяла, будто на митингах проповедывалась анархия. Это чистейший вздор. Анархисты выступали редко и, большей частью, без успеха: их нападки на буржуазную рес-

публику принимались толпой, как кошенная заплата самодержавия. Однажды я был свидетелем того, как рабочие свистками и враждебными криками отвечали на горячую и искреннюю речь старушки-анархистки. Сама старушка считала свою речь архи-революционной, и она никак не могла понять, почему так враждебно встречает ее революционная толпа. Со слезами обиды на глазах она кричала рабочим:

— Я — колымская! Я — колымская!

Но рабочие не знали, что эти два слова говорят о долгих годах борьбы и страданий этой седой, сторбенной женщины, не признающей ни монархического, ни республиканского строя. Они думали, что старушка просто повторяет свою фамилию, и смеялись...

Я хочу подчеркнуть еще одну особенность этих митингов: в них не было демагогии и почти не было полемик между революционными партиями. И в том, и в другом отношении они были выше, чем заводские митинги последовавшего периода. Да и вообще, я никогда и нигде не видел народных собраний, где царил бы такой энтузиазм, где так ярко горел бы огонь идеализма, как на наших сен-гильерских митингах.

И теперь, спустя много лет, я не могу вспомнить без волнения эту толпу, — наивно восторженную, верящую в свое революционное призвание, готовую на все жертвы, полную безграничной жажды знания.

* * *

В самом начале митинговой кампании большевистская организация приняла меры, чтобы, по-

4878-511
уч. 670-

возможности, упорядочить ее и подчинить директивам центра. Была образована при Петербургском Комитете «коллегия митингов ораторов». Сперва в ней было человек 10 или 12, но постепенно ее состав пополнялся новыми силами, — частью районными работниками, частью товарищами, приезжавшими в Петербург из провинции. «Коллегия» была у всех на виду, работа ее была живая, интересная, эффективная, охотников вступить в нее было много. Не было отбоя и от девиц, предлагавших нам свои услуги для секретарской работы.

Представителями Петербургского Комитета при коллегии были Радин-Кнунианц (носивший тот же псевдоним, что и я, — Сергей Петров) и «тов. Антон» (Красиков).

Кнунианц, — талантливый, остроумный, всегда веселый, всегда приветливый — пользовался общими симпатиями. Но на нем лежало много другой работы, и он появлялся у нас лишь мельком.

Постоянное око Комитета представлял собою «тов. Антон.» — человек откровенно невежественный, весьма ограниченный, самоуверенный и горький пьяница. Импонировать никому из нас он не мог, и это явилось одной из причин появления в коллегии духа оппозиции по отношению к Комитету. Успешно этого настроения способствовало и то, что все мы, в большей или меньшей степени, были опынены шумом англодиссентов и «блеском» ежедневных выступлений.

Впрочем, Комитет быстро сообразил, что в создавшейся обстановке нельзя третиловать «митинговых ораторов», как какуюнибудь районную кол-

легию агитаторов. За нами была признана извещая автономия. «Тов. Антон.» — очевидно, получив соответствующие директивы из центра, — распылялся перед нами в комплиментах, неустанно подчеркивая исключительно ценность нашей работы для партии.

В конце концов, «ораторская коллегия» получила в жизни петербургской партийной организации такой вес, что могла, пожалуй, по своему влиянию, конкурировать с Петербургским Комитетом.

Ядро коллегии составляла тройца: Николай (Коновалов), Абрам (Крыленко) и я.

О Николае я хочу сказать здесь несколько слов. В моей памяти с периодом митингов, к которому я принадлежу, неразрывно связана ста характерная фигура, — черная куртка, широкий жет, бледное лицо, звенящий голос, резкие, рубленные фразы.

Не знаю точно, откуда он явился. Иногда он называл себя рабочим, иногда говорил, что до первого ареста был учеником какого-то технического или ремесленного училища. В социал-демократическую партийную организацию он вступил еще в 90-х годах. Несколько лет просидел в самарской тюрьме, в одиночке. Кажется, побывал и в ссылке. Летом 1905 г. вел партийную работу где то на юге или на Волге, в сентябре приехал в Петербург.

Обладав подлинным ораторским талантом, даром валять толпу, он был одним из наиболее заметных деятелей петербургского движения конца 1905 г., а в последующие годы остался одним из главных руководителей местной большевистской организации.

Трагическое пятно! В 1910 г. Николай по-
б Вейнскид.

кончили с собой, повесились в своей комнате, не оставив никаких объяснений своего рокового решения. Перед этим он сильно пил, но не оставлял партийной работы. Петербургские рабочие устроили ему торжественные похороны, многотысячная толпа шла за его гробом.

А в 1917 г. стало известно, что Николай был агентом Охранного Отделения...

Не знаю, что было в душе этого человека. В сентябрьские дни, когда я впервые встретился с ним. Был ли он уже в эту пору охранником, или лишь позже пошел на поворное дело? И если уже в 1905 г. он был предателем, то что двигало им? Выполнял ли он указания своего начальства, стараясь революционизировать студенческие сходки и создавать предлог для вмешательства полиции? Или, подчиняясь импульсам своей авантюристской натуре, он вышел из рамок поставленной ему задачи? Или он пытался в то время вырваться из сетей, в которых держали его жандармы, и страсть, взмывавшая в его речах, вытекала из чувства бесконечного унижения и из ненависти к тем, кому он служил?

Не буду останавливаться над загадками этой темной души¹⁾...

¹⁾ В истории Николая много представляется темным и необъяснимым. Не подлежит сомнению, что выдавал он не всех, с кем сотрудничался, и не все, что знал. Так, например, он знал участников нападения на черносотенцев за Невской заставой в трактире «Левый», в конце января 1906 г. — и, если не ошибаюсь, сам участвовал в этом нападении, очинившем Невский район от черной сотни. Участникам этого дела неминуемо грозила смертная казнь, но никто из них не был арестован.

Выдающимся митинговым агитатором был Абрам. Говорил он горячо, образно, красиво и умел подымать настроение толпы.

Часто и с постоянным успехом выступал на митингах тов. Макара. Первое время он, в видах конспирации, пользовался нарядными усами. Но рабочие сразу узнавали его по крупному носу и говорили о нем: «Усы что день, то другие, а нос все тот же». За ним установилась даже кличка «Макара с носом».

Хорошими ораторами были Борис (Монозвон) и студент Коротков, получивший за высокий рост и монументальное сложение кличку «Спина».

Немного позже вошел в нашу коллегия прибывший из Москвы «тов. Петр», — Алексинский. Говорил он с большой силой, порой с юмором, всегда прекрасным народным языком. Его пронзительный, свистящий, немного картавый голос, резкий жест, неожиданные «словечки» — электризовали толпу. В нашей коллегии он занял несколько обособленную позицию, на крайнем левом фланге; уличал всех петербургских работников в отсутствии революционности, в дряблости, нерешительности, трусости. Само собой разумеется, петербуржцы давали ему надлежащий отпор, и Петр не приобрел в коллегии того влияния, на которое претендовал.

Было в ораторской коллегии человек десять молодых работников, которые выступали всегда с кем-нибудь из более опытных, «старших» товарищей — к числу «старших» принадлежал, между прочим, и я, хотя мне шел тогда всего лишь 20-ый год.

Больше всего я любил выступать с Евгением

(А. Литкенсом) — искренним, горячим и талантливым юношей, позже трагически погибшим. Мне еще придется говорить о нем.

Работала коллегия дружно и изо всех сил. А работа была тяжелая: были дни, когда приходилось выступать 5—6, а то и 9—10 раз.

Наша постоянная явка была в столовке при Университете.

Помню, как то, перед октябрьской забастовкой, встав утром, я почувствовал, что у меня совершенно пропал голос. Пробую говорить — вылетают звуки задушенного шопота. Крайне расстроенный, пошел я на явку. Встречаю там Леонида, — у него то же несчастье. Приходит Абрам, — и он хрипит. Собрались остальные товарищи, почти все жагуются на горло.

Тогда я предложил: организуем забастовку митинговых ораторов, предводим Петербургскому Комитету экономические требования, — 8 часовый рабочий день и стакан голода-морода после каждой речи!

Предложение имело успех, и Антон не на шутку перепугался, когда подсчитал, сколько лиц потребуются Комитету, чтоб удовлетворить выпешую из повиновения ораторскую коллегия.

«Пробастовали» мы, потерявшие голос агитаторы, целые сутки. А затем голос вернулся, и мы могли выступать, не думая о 8-часовом рабочем дне и не мечтая о голоде-мороде, — хорошо было, если в зале оказывался графин с водой, чтоб промочить горло!

Работа была волнующая, ослепляющая. Все

время — в охваченной энтузиазмом толпе, все время — во власти ее настроений, ее дум, ее воли.

Я чувствовал в эти дни, что, быть может, мы в состоянии сообщить рабочей толпе обрывки не достоящих ей знаний, но не в силах вести ее, управлять ее движениями. Чувствовал, что мы не вождем революционной толпы, а ее глашатаи.

Эту мысль я не раз развивал в нашей коллегии. Товарищи почти все так же смотрели на дело. Впрочем, от комитетчиков постарше мне пришлось слышать суровый отзыв, что все это — «декадентщина»: для них масса представляла собой бесформенную стихию, а мы были носителями „революционной сознательности“, призванными не толкать на правую толпу, но и управлять ею.

* * *

Порой приходили на митинг люди из чужого круга. На них непонятная им толпа производила впечатление какой то дикой, разрушительной силы.

Я рассказываю здесь о приеме, который был оказан нами одной группе таких гостей.

В университетской столовой я встретился как то с корреспондентом лондонского «Times'a». Он признался распрашивать меня о социалистических партиях. Незаметно с вопросов общего программного характера он перешел к конкретным вопросам:

— Как относится ваша партия к Павлу Николаевичу?

— Как относитесь вы к внешним долгам России?

Михайлов
(См. стр. 67)
5-й
+18-м

33

— Что думаете вы о проектируемом новом займе?¹⁾

Последний вопрос заставил меня насторожиться: в то время в Петербурге ходили слухи, будто правительство втихомолку ведет переговоры с американцами о внешнем займе, который дал бы ему возможность ликвидировать последствия дальнейшей восточной войны и подавить смуту. Передавали, что переговоры начал Вите во время своей поездки в Портсмут, и что для окончания этих переговоров в Петербург приехала группа американских банкиров с сыном или представителем известного миллиардера Моргана во главе. Именно присутствием в Петербурге американских финансистов объясняли, почему правительство — в частности, петербургский генерал-губернатор Трепов — смотрит сквозь пальцы на революционные митинги в высших учебных заведениях. Выказывали предположение, что все изменится, лишь только переговоры закончатся и американцы уедут из Петербурга.

Итак, я не мог не заинтересоваться вопросом англичанина об отношении социалистов к предлагаемому займу. Я ответил ему, что не знаю, обсуждался ли этот вопрос в партийных центрах, но не сомневался в одном: победоносная революция не будет платить по займам, заключенным ее врагами для ее подавления.

¹⁾ Я играл в партии весьма скромную роль. И обращение корреспондента с этими вопросами ко мне объясняется, я думаю, тем, что в Англии на митингах выступают обыкновенно партийные лидеры. Мой англичанин, посещая митинги и встречая постоянно определенных лиц на трибуне, пришел, повидимому, к совершенно ошибочным заключениям об их весе в движении. В частности, он не знал, как строго разделились у нас функции агитатора, организатора и т. д.

— Как? изумился англичанин: Вы не будете платить по займам? Но ведь это нечестно! Тогда вам выпреет никто не будет верить!

Я ответил, что экспроприация земель передается в руки революционного правительства такие материальные средства, что оно не будет нуждаться ни в каких займах.

Англичанин поблагодарил меня за сообщение, обещал телеграфировать в «Times» содержание нашей беседы и затем прибавил конфиденциально:

— Один из моих американских друзей был бы рад встретиться с вами и поговорить о вопросах, о которых мы только что с вами беседовали.

Условившись встретиться на квартире корреспондента. Встреча произошла дня через три или четыре (в этот день, как раз, пришел № «Times»²⁾ с воспроизведением нашей первой беседы под заголовком «The revolution really reached in University»³⁾. «Друг» корреспондента оказался молодым человеком с беговой бородкой, с голубыми глазами, с энергичными, самоуверенными манерами.

Разговор велся по-английски. Молодой человек быстро кидал вопросы и записывал мои ответы. Покончив с вопросом о займе, он спросил меня:

— Считают ли республиканские партии, что за ними большинство населения?

— Несомненно!

— Но ведь крестьяне за царя! Да и рабочие тоже! Вот и ваши митинги! Мне говорили, что на них выступают студенты, анархисты, республиканцы, но масса граждан им не сочувствует.

Тогда я предложил ему:

¹⁾ „Революция открыто проповедуемая в университете“

— Чтобы проверить добросовестность тех, кто рассказывал вам эти басни, приходите в Университет на митинг.

— Это можно? Я принял бы приглашение за себя и за трех моих коллег... Нас не убьют?

— Гарантирую вам полную безопасность. Приходите в Университет завтра, в 9 часов вечера. Вызовите меня, — я провожу вас дальше.

— Хорошо.

Я рассказал о своей беседе с американцем Николасом и Абраму, и мы условились, о чем говорить при гостях.

В начале 10-го часа, когда митинг в актовом зале Университета был в полном разгаре, мне передали записку: «Гов. Войтинского просят вниз».

В вестибюле меня ждали американцы. Щегольски одетые, в широких пальто, в светлых перчатках, они были центром всеобщего недружелюбного внимания со стороны рабочих и, повидавшему, чувствовали себя неважно под перекрестным огнем насмешливых замечаний, которые корреспондент «Times» а вполголоса переводил им.

Поздоровавшись с гостями, я повел их к привокзальным для них местам, — в оконной нише под кафедрой. Председатель, как было условлено заранее, представил мне слово. Речь моя прошла без инцидентов. Следующим выступал Николай. Он говорил, повернувшись лицом к раме царского портрета, уничтоженного студентами в феврале, говорил, будто бы обращаясь к «богопоманному убийце» от лица соображавшей толпы. Речь его прерывалась аллодисментами, криками, угрозами по адресу царя.

Когда он кончил, на кафедре показались Абрам. Продолжая речь предыдущего оратора, он говорил:

— Этот царь, проклинаемый своим народом, ищет опоры за океаном. Через своего лакея Витте он обратился к американцам, и те готовы дать ему денег для борьбы с революцией...

— Долгой Америке! несется из толпы.

Оратор продолжает:

— Царский трон будет сметен волей народного гнева, и тогда американские миллионеры обратятся к восторжествовавшей революции за процентами на капитал, который они ссудили царю. Что мы им ответим, товарищи?

Из толпы неслись крики, каждый предлагал свой ответ американским кредиторам...

Американцы, стоя на стульях в отведенной для них нише, с напряженным вниманием следили за ходом митинга. Корреспондент быстрым шопотом переводил им и речи, и возгласы. Молодой человек с голубыми глазами обратился ко мне:

— Я думаю, этого довольно. Проводите нас, пожалуйста.

Мы двинулись к выходу через всю толпу, — я спереди, за мною гуськом американцы, в арьергарде — корреспондент «Times» а. Так выбрались на лестницу. Наши гости были потрясены зрелищем и слышанным и лишь повторяли:

— Dreadful! Dreadful! (Ужасно! Ужасно!)

Порто благодарил меня за полученные сведения о настроении рабочих. Вместе с ними я вышел на улицу. Снаружи Университет представлял жуткую картину. Нижний этаж погружен во мрак. Окна второго этажа ярко освещены. И в каждом окне

черные силуэты людей, одни неподвижные, другие волнующиеся, машущие руками. Из открытых форточек клубами валит пар, будто дым над аданием, охваченным пожаром. Несется смутный гул голосов, прерываемый взрывами криков и рукоплесканий. По потемной улице движутся тени, — все в одном направлении, к главному входу Университета.

— Dreadful! Dreadful! повторяли американцы.

Затем принялись спрашивать меня:

— Это у вас часто бывает?

— Почти каждый день.

— Почему в Университете?

— Не только в Университете. Во всех высших учебных заведениях вы увидите ту же картину.

Мимо нас пробежал по набережной знакомый студент. Я окликнул его:

— Вы куда?

— В Академию Художеств, на митинг. Там хоть нашего брата не выставляли за двери.

— Вот это кстати!..

И я предложил американцам:

— Хотите, для полноты впечатления, посетить еще Академию Художеств, Высшие Женские Курсы, какой-нибудь Институт?

— Пожалуй, Академию...

— Так вот, товарищ, проводите этих господ, поболтайте, чтобы их никто не обидел, и покажите им все интересное.

— С удовольствием!..

На другой день корреспондент «Times»^а разыскал меня и снова дошло и горячо благодарил от имени своих американских друзей.

Кто были эти американцы, я и теперь не знаю. Не знаю, имели ли они какое либо отношение к той группе американских финансистов, о которой ходило столько слухов в Петербурге. Во всяком случае, я далек от утверждения, что наш университетский митинг мог оказать решающее влияние на исход переговоров о займе...

Я привел этот случай просто, как пример того, какое впечатление производили сентябрьские митинги на людей, приходявших на них с убеждением, что «бунтуют» лишь студенты и интеллигенция, а рабочие, как и весь русский народ, — за царя.

* * *

Особенностью описываемого «митингового периода» в Петербургском Университете было то, что в течение него академическая жизнь протекала почти без потрясений: между революционными и умеренными элементами студенчества, так же, как между студенчеством в целом, с одной стороны, и профессурой, с другой, выработалось молчаливое соглашение на основе принципа — не мешать друг другу.

Фактически Университет был в руках небольшой группы студентов-революционеров, но эта группа не мешала беспартийным, умеренным студентам учиться и готовиться к экзаменам. Что касается до профессоров, то для них основным вопросом было — не допустить засилья революционных элементов над внутренней академической жизнью Университета. Вопрос же о том, что творится в университетских стенах во внеэкзаменное время, представлялся для них сравнительно второстепенным. Поэтому профес-

сора с самого начала решили дать бой революционным руководителям студенчества на выборах академической жизни. Если бы мы приняли бой на этой почве, конфликт между студенчеством и профессурой обострился бы и, по всей вероятности, привел бы к закрытию Университета. Но вышло так, что мы сразу признали правоту профессоров, в во-просах, которым последние придавали наибольшее значение, и в которых их правота была, в самом деле, несомненна, — и это обезоружило профессорскую оппозицию.

Я должен прервать здесь рассказ об университетских митингах, чтобы остановиться на этом эпизоде и вообще на академической жизни Петербургского Университета в конце 1905 г.

Прекращение забастовки поставило перед студенчеством ряд академических вопросов. Большая часть этих вопросов была разрешена на сходке 19-го сентября, на той самой сходке, к которой обратился Ушаков.

Здесь были приняты постановления: об отмене формы, о передаче в руки студентов заведывания столовой и бюро по прискаанию мест, о создании выборного института старост, как посредствующего звена между студентами, с одной стороны, и ректором и Советом Профессоров, с другой стороны, и т. д.¹⁾ По вопросу об условиях приема в Университет сходка постановила:

«Мы требуем:

¹⁾ Между прочим, здесь же было решено из названия Университета вычеркнуть слово «Императорский», но это постановление не получило дальнейшего движения. На-часть с во-легалого глгд, будто вадыло о пег, а мы к пегу не возвращались, чтоб не обострять без нужды положение.

• «1) немедленного уничтожения %о-ной нормы для принятия в Университет евреев...

«2) немедленного открытия доступа в Университет женщинам;

«3) немедленного открытия доступа в Университет всем окончившим средние учебные заведения или 4 класса семинарий, а также работающим на пользу просвещения народа и желающим расширить свое образование;

«и 4) немедленной отмены правил об округах».

Тогда же было решено:

1) предложить совету профессоров пригласить на профессорские кафедры Аничкова, Кареева, Исаева, Милюкова, Славовича, Туган-Барановского, Ходского, Струве;

2) повернуть «активному бою» профессоров Жданова, Коновалова, Георгиевского и еще нескольких других, имен которых я не помню, — всего около 10 человек из числа наиболее «правых».

Оба списка — пригласительный и «проскрип-ционный» — составились, в значительной части, случайно, из имен, которые выкинулись кем либо из студентов и подхватывались охоткой.

Для переговоров с профессорами по существу принятых решений была избрана комиссия, в которую вошли Энгель, Каплан и я. Совет Профессоров назначил, со своей стороны, для переговоров профессоров А. Покровского, И. Гревса и Эврина Тримма. Помните, присутствовал при переговорах и Л. И. Петражицкий.

Когда мы прочли профессорам нашу резолюцию об изменении условий приема в Университет, А. Покровский резко спросил нас:

— Что значит ваше «требуем»? Что значит четыре раза повторенное «не медлено»? К кому обращен ваш ультиматум? к Совету Профессоров? Но имеете ли вы право так разговаривать с нами?...

Мы были смущены, так как нам в голову не приходило, что профессора могут обидеться на нашу резолюцию, повторяющую, собственно говоря, требования Академического Союза. Посоветавшись между собою, мы заявили, что признаем форму нашей резолюции не отвечающей новому положению автономного Университета, но просим профессоров верить, что сходка не имела намерения обидеть их.

Этим инцидент был исчерпан, и мы перешли к следующему вопросу, к приглашению в Университет прогрессивных профессоров. Оказалось, что профессора чувствуют себя оскорбленными и этим постановлением сходят.

— Замещение кафедр путем случайного подбрасыва толпы унижает профессорское звание, заявили они нам: Мы вашего списка не принимаем, так как не можем признать за митингом компетенцию определять научные заслуги того или другого профессора.

Мы возражали, что до сих пор состав профессуры фальсифицировался министерством и полицией, и что студенчество добивается лишь одного: чтобы в автономном Университете были уничтожены последствия этих, действительно, унижающих для профессорского звания и для Университета влияний.

Тогда проф. Покровский иронически заметил:

— Вы, господа, вероятно, справились о взгляде ваших кандидатов на право студенческой сходки вмешиваться в назначение профессоров? И вы, конечно, не сомневаетесь в том, что П. Н. Миллюков

и П. Б. Струве с благодарностью примут кафедру из ваших рук?

Пришлось отступить и в этом вопросе. И эта неудача не очень располагала нас к постановке вопроса о «проскрипционном» списке. Но пр. Покровский сам поднял этот вопрос:

— Мы знаем из газет, сказал он, что ваша сходка 19-го сентября выработала «проскрипционный список» — неурное название! — неуродных профессоров. Мы ждем от вас официального сообщения об этом списке.

Энгель прочел список подлежащих бойкоту профессоров. Покровский спросил нас:

— За что осуждены эти лица, напр., пр. Жданов?

— За его деятельность в качестве ректора. В частности, за попытку превратить Университет в полицейский форт с блиндированными дверями и окнами.

— А за что осужден пр. Георгиевский?

— За то, что он подавал в Охранное Отделение доносы на своих коллег.

— Вы в этом уверены? Сколько раз подавал он доносы?

— Тринадцать раз.

— Видите, господа, как легко обмануть вас! Ведь тот, кто дал вам эти сведения, либо клеветник, либо охранник. Чтобы сосчитать доносы Георгиевского, он должен быть своим человеком в Охранном Отделении. А если он не охранник, то откуда у него эта цифра — тринадцать?

Я ответил:

— Сведения о пр. Георгиевском сообщены нам лицом, в добросовестности которого мы не могли сомневаться. Так как вы yourselves сомненья в точ-

ности этих сведений, то мы потребуем исчерпывающих показаний.

— А если эти доказательства не будут представлены?

— Тогда пр. Георгиевский будет реабилитирован, а его обвинитель будет объявлен клеветником.

— А нельзя ли узнать, кто этот обвинитель?

Обвинителем Георгиевского был приват-доцент по кафедре политической экономии В. В. Святловский, человек довольно бездарный, но старавшийся играть роль в Университете, всячески искавший популярности среди студентов и в этих видах заставлявший себя крайним радикалом и даже «почти марксистом»: он лично мне сообщил о доносах Георгиевского и горячо настаивал на необходимости включения этого профессора в «прокритический список».

Первым моим движением было назвать приват-доцента-обвинителя, но Каплан и Энгель ударили меня. Да Покровский и не настаивал на своем вопросе. Он разразился пламенной речью против нашего решения в целом:

— Ваша резолюция — насилие над совестью... Вы берете на себя функции охраны, выбрасывая из Университета тех, чьи убеждения вам не по вкусу. Вы прибегаете к суду Линча, к самоуправу толпы... Вы не решились выслушать обвиняемых, не сообщили им, в чем их обвиняют... Вы вынесли решение отулом о десяти лицах сразу, не потрудившись расследовать виновность каждого в отдельности.

В заключение профессор спросил нас:

— Скажите, господа, по совести, можете ли вы утверждать, что при составлении вашего «прокритического

списка» были соблюдены требования прокритического справедливого?

Я ответил:

— По совести, эти требования нами соблюдены не были.

Энгель присоединился к моему заявлению.

Тогда Покровский сказал:

— Я рад тому, что мы с вами договорились. Это поможет вам понять наше решение: если вы не откажетесь от вашего «прокритического списка», если хоть против одного профессора будет применено насилие, которое вы называете «активным бойкотом», то Совет Профессоров, согласно принадлежащему ему праву, немедленно закроет университет. Это решение наше бесповоротно.

Мы смогли противопоставить этому решению лишь одно возражение:

— Вы ссылаетесь на несостоятельность решения сессии 19-го сентября. Мы признаем справедливость ваших указаний. Но в применении к некоторым профессорам этот аргумент недействителен: так действия пр. Коновалова в Горном Институте были предметом беспристрастного общественного разбирательства, и решение третейского трибунала достаточно обосновывает вынесенный ему сходкой бойкот.

Профессора ответили, что вопрос о Коновалове, действительно, сложнее, нежели вопрос об остальных лицах, явно без достаточных оснований внесенных в «прокритический список». На этом заседание смешанной комиссии закончилось.

Оставшись одни, мы принялись обсуждать создавшееся положение. С точки зрения боевой тактики, оно было безнадежно, так как мы сами призна-

ли перед профессорами несостоятельность решения сходки. Напуган обвинил во всем меня. Я доказывал, что другого выхода у нас не было, так как решение сходки 19-го сентября, не выдерживает критики и должно быть отменено. Решили пере- дать вопрос в социал-демократический комитет и в Коалиционный Совет.

На утро я поспешил к приват-доценту, сообщившему мне о доносах пр. Георгиевского.

— Не можете ли представить доказательства? спросил я его.

— Помилуйте, какие возможны доказательства в подобных делах!

— Тогда вам придется выступить на сходке в качестве свидетеля.

— Это невозможно! Скажут, что я выживаю Георгиевского, чтобы занять его кафедру. Знаете, что? Лучше всего, выступите с а м и и подтвердите, что вы получили сведения из вполне достоверного источника.

— Достоверного? Но если я вам не верю! Святловский принял вид оскорбленной невинности:

— До сих пор молодежь верила мне. Я не ожидал... Мне очень больно.

Но я уже не пытался продолжать разговор в парламентских тонах и очень выразительно об- яснил приват-доценту, что думаю об его поведении. В заключение я сказал:

— Для меня ясно, что никаких доказательств у вас нет. Я так и объявлю на сходке, — что Ге- оргиевский оклеветан вами.

Я вышел, не прощаясь. Но приват-доцент поспешил за мной в переднюю, предупредительно подал мне пальто, затем вышел проводить меня на лестницу. Он был бледен, расстроен и все повторял: — Вы подумайте еще... Это не последнее ваше слово... Вы этого не сделаете...

Результаты своего разговора со Святловским я доложил Коалиционному Совету, при чем энергично доказывал, что постановление о «проскрип- ционном списке» должно быть отменено, так как совершенно несомненно, что оно было принято без соблюдения требований процессуальной справед- ливости. После горячих споров было решено, что комиссия, выбранная для переговоров с профессо- рами, представит сходке мотивированный доклад о необходимости отменить решение об «активном бойкоте» профессоров, против которых не имеется конкретных и точно установленных обвинений. До- кладчиком по этому вопросу назначили меня — отчасти в отместку за неосторожность при ведении переговоров с профессорами. При этом просили Святловского (чтобы не давать правым профессорам оружия против младших преподавателей).

Сходка состоялась 25-го сентября. Предложение уничтожить «проскрипционный список» и отказаться от бойкота правых профессоров (за исключением Коновалова и Жданова) вызвало со стороны части студентов взрыв протестов и свистков. Я апелли- ровал к чувству справедливости молодежи, и пр. Покровский был бы не мало изумлен, еслибы, присутствуя на этой сходке, он услышал с вою речь в устах студента-большевика.

6*

Энгель поддерживал меня. В конце концов, после долгих и довольно сумбурных прений, сходка приняла резолюцию:

«На сходке 19-го сентября, при вынесении резолюции о «проскрипционном списке», не были соблюдены некоторые принципы процессуальной справедливости:

«1) обвиняемых судили заочно;

«2) судили многих сразу за разнообразные поступки;

«3) обвинения против некоторых лиц не были формулированы достаточно ясно и определено.

В виду этого сходка полагает, что вопрос о бойкоте лиц, внесенных в «проскрипционный список», нельзя считать решенным окончательно. До рассмотрения этого вопроса особой комиссией сходка предоставляет товарищам слушать или не слушать каждого профессора, руководившуюся собственной совестью».

Таким образом, вопрос о «проскрипционном списке» был погребен в комиссии (которая, к слову сказать, так этого вопроса и не рассматривала). Поводы конфликта с профессурой были устранены. Совет Профессоров сохранил за собой право распределения кафедр (то есть, приглашения и увольнения из Университета профессоров) — это свое важнейшее право в области академической жизни. Со своей стороны, наша группа сохранила возможность распоряжаться в Университете вне часов занятий.

Спустя несколько дней состоялись выборы Совета Старост.

Выборы производились по факультетам, путем тайной подачи голосов за списки кандидатов, выставленные различными партиями и группами.

Больше всего голосов собрал объединенный список большевиков, меньшевиков и бундовцев. У социал-демократов оказалось в Совете Старост абсолютное большинство. Следующую по численности фракцию составляли социалисты-революционеры, и обе социалистические фракции вместе господствовали в Совете безраздельно, не встречая противодействия со стороны маленькой группы «беспартийных».

Во главе последней группы стоял Виленкин, — талантливый оратор, очень неглупый человек, смелый, находчивый, остроумный. У него была тактика — выступать по всем вопросам, подчеркивая отличие своей точки зрения от взглядов социалистических партий, но никогда не доводить дело до конфликта.

Социал-демократы, руководившие Советом, делились на две группы: одни вели повседневную работу в столовой комиссии, в студенческом бюро по прискаанию мест, в землячествах и т.д.; на других, как, например, на мне, лежала политическая работа, — то есть, «использование» Университета и выступления на сходках.

Само собой разумеется, что к старостам, появившимся лишь на сходках и подымавшимся на закрытых для студентов митингах, умеренные элементы студенчества относились с некоторой опаской. У Виленкина это отношение выражалось, между прочим, в иронической почительности, с которой он подгибал на мои высокие сапоги и черную

коворотку с ремненным поясом: в то время я уже вел партийную работу среди рабочих, большую часть дня проводил в заводских районах и привык одеваться по заводскому, чтобы не выделяться из толпы; Вигенкин же считал мой proletарский костюм революционным маскарадом.

Однажды я пришел на вечернее заседание Совета Старост смертельно усталый. С шести часов утра я был на ногах, три раза говорил под открытым небом. Совершенно разбитый, я мечтал лишь о том, чтоб заснуть, а между тем в Совете Старост мне пришлось в этот вечер председательствовать. Заседание происходило в одной из зал нижнего этажа, мы расположились в глубоких кожаных креслах вокруг стола круглого зеленого сукном. Я чувствовал, что веки мои слипаются, что голова опускается все ниже.

Вдруг громкий стук, и вслед за тем чей то недоуменный голос:

— Это безобразия! Уберите ноги!

Смотрю, — Вигенкин положил ноги на стол и лежит, откинувшись на спинку кресла, в самой невозможной позе, не обращая внимания на стоящего над ним в угрожающей позе эсера.

— Что это значит? Изумился я, протирая глаза.

Вигенкин об'яснил невозмутимо:

— Там, где председатель собрания спит, члены собрания могут класть ноги на стол.

И он убрал ноги со стола, лишь получив от меня торжественное обещание, что я не буду больше спать на заседании.

Впрочем, подобные мелкие конфликты не нарушили доброго согласия, царившего в Совете Старост.

Дружелюбные отношения вскоре наладились и между Советом Старост и Советом Профессоров.

Профессора неоднократно поднимали речь о том, что Университет не приспособлен для митингов: толпки могут не выдерживать чрезмерной нагрузки, здание не имеет запасных выходов на случай пожара, паника может вызвать здесь бесчисленные жертвы. Отсюда следовало, что необходимо перенести митинги в другое помещение. В ответ старосты сослались на полицейские условия, — и все оставалось по старому.

По утрам в Университете шли лекции, — аудитории и лаборатории были наполнены студентами, за кафедрами сидели профессора. А вечером не только Актовый Зал и аудитории, но порою и двор наполнялись рабочей толпой, которая расходилась лишь после полуночи. С расвета сторожа принимались за уборку, — и к 9-ти ч. утра Университет снова принимал свой казенно-благопристойный облик.

В этом отношении в Петербургском Университете (как и в других петербургских высших учебных заведениях) дела сложились совершенно иначе, чем, например, в Москве.

В то время как в Петербурге все с профессором — не исключая и крайних правых — преспокойно читали лекции по утрам, предоставляя в наше распоряжение и кафедры, и аудитории в вечерние часы, в Москве не только правые профессора, но и либеральные профессора, пользовавшиеся популярностью среди студентов (как кн. С. Трубецкой и Мануйлов), ни за что не хотели примириться с митингами в стенах Университета.

Это различие тактики петербургской и московской профессуры нельзя объяснить политическим радикализмом петербургских профессоров, сравнительно с московскими. Принципиальная позиция тех и других была одна и та же. И московские профессора твердо проводили ее, тогда как петербургские плыли по течению, приспособляясь к обстоятельствам, делая уступки студентам. Но компромисс всегда двусторонен. И несомненно, что дальше известного предела в своих уступках петербургские профессора не пошли бы. Поэтому, установившиеся в Петербургском Университете положения не было бы возможно, если бы революционная часть студенчества не взяла здесь на себя ликвидацию академических конфликтов и охрану «внутреннего мира».

Это не было с ее стороны осуществлением зрело продуманной тактики, но явилось результатом случайных обстоятельств.

Любопытно отметить, что «Искра», еще в июле пророчески угадывая возможность использования высших учебных заведений для широкой митинговой кампании, рекомендовала студенчеству совершенно иную тактику по отношению к профессуре.

«Само собою разумеется, писала «Искра» в уже цитированной мною статье, что революционное студенчество встретит противодействие не только со стороны правительства. Многие из тех «радикальных» профессоров, которые упиваются своей собственной гражданской доблестью, выражающейся в пассивном отказе читать лекции, поднимут ужасный вопль по случаю покушения революции на «свободу» науки. Но смущаться этим и

воплем не следует, не только потому, что свобода профессорской «науки», всегда носившей глупости в сторону правящих классов, — вещь довольно сомнительной ценности, но и потому, что те недолгие дни до водворения либерального «порядка», когда университет будет достоинством революционного народа, будет трибуной, с которой в свободном составлении будет раздвигаться всякий голос, всякое мнение, — эти недолгие дни и будут днями истинной свободы науки, свободы мысли, свободы исследования. И можно заранее поручиться, что те студенты, которым выпадет на долю счастье пережить эти дни, не так то легко и скоро дадут снова запретить себя в оглобли размеренно аккуратной «научной мысли» гг. профессоров»...

Таким образом, студенчеству предлагалось дать профессорам бой на почве толкования академической свободы.

При иных условиях такая борьба имела бы, быть может, политическое значение, но при сложившейся обстановке применение этой тактики привело бы к срыву митинговой кампании. В конце сентября перед нами была лишь одна задача — удерживать в своих руках университетские стены для революционного их использования рабочими. И эта задача оказалась разрешена успешно исключительно благодаря тому, что мы без боя и без долгих размышлений уступили профессорам те позиции на поле академических споров, которым они при давали наибольшее значение, и которых, следуя до конца тактике «Искры», мы не должны были бы сдавать ни в каком случае.

* * *

С полосой университетских митингов тесно связана история петербургских октябрьских дней. Деятели октябрьского периода не только видели эту связь, но часто склонны были переоценивать ее.

Так, Витте пишет в своих «Воспоминаниях»: «Указ об автономии университетов, последовавший в августе месяце, был первой брешью, через которую революция, созревшая в подполье, выступила наружу» (т. I, стр. 486).

В этом же смысле высказывался Хрусталев-Носарь в своей речи на суде (25-го января 1906 г.): «Зародыш Совета Рабочих Депутатов надо искать в сентябрьских днях, говорил он: Сентябрь — это время митингов. «Автономная» высшая школа превратилась в политическую трибуну. Десятки тысяч рабочих были охвачены митинговой лавиной. На этих митингах говорили о борьбе, звали к ней. Повышенное настроение пролетариата характеризует сентябрьские дни. Железно-дорожная стачка дала выход этому психологическому подъему».

Я думаю, что эти утверждения нуждаются в существенных оговорках. Граф Витте готов был об'яснить всю революцию 1905 г. указом об автономии просто потому, что указ этот был издан без его совета, в то время, как он сидел в Портсмуте. Что же касается до Хрусталева, то он события октябрьские рассматривал сквозь петербургскую призму.

Октябрьская забастовка охватила всю Россию. Началась она в Москве, где университетские митинги не достигли большого развития, и где сентябрьское движение характеризовалось скорее уличными манифестациями и вооруженными столк-

новениями, нежели речами на революционно-политические темы. В частности, не митингами была подготовлена всероссийская забастовка железнодорожников, сыгравшая решающую роль в развитии октябрьских событий.

Митинги в высших учебных заведениях были характерной особенностью пред-октябрьского периода в Петербурге (и еще в трех-четырёх городах). Поэтому в них следует искать об'яснения не октябрьского движения в целом, а тех особенностей, которые характеризовали это движение в Петербурге.

А главной особенностью петербургского движения было то, что оно создало Совет Рабочих Депутатов, центральный орган, который, если не руководил стихийным рабочим движением, то являлся его глашатаем, его политическим выразителем. Благодаря Совету октябрьские события приобрели в Петербурге внешний вид большей плановости, организованности, осознанности; в них отчетливее выступила наружу власть определенных политических формул. Но может быть, не менее характерной особенностью революционного движения в Петербурге за этот период было обилие слов — хороших, горячих, искренних, но все же слов, не претворявшихся в дела.

Эти черты — как положительные, так и отрицательные — действительно, были подготовлены той митинговой агитацией, через которую прошли десятки тысяч петербургских рабочих в период, который обыкновенно называют «сентябрьскими днями», но который в действительности охватывает послед-

ние десять дней сентября и первую половину октября.

* * *

В начале октября митинги в высших учебных заведениях Петербурга получили особенное развитие. 2-го октября в Горном Институте набралось столько народу — исключительно рабочих, — что бабки большого зала дали прогиб; дело могло бы кончиться катастрофой, но все обошлось благополучно благодаря тому, что толпа, наполнявшая зал, узнав об опасности, отнеслась к ней с чисто русской беспечностью и очистила зал без спешки, без давки, нехотя уступая просьбам студентов устроителей митинга...

7-го октября забастовал московский железнодорожный узел. В Петербурге ходили противоречивые слухи об этой забастовке. Газетные вести не удовлетворяли рабочих, им хотелось узнать подробности о событиях от «своих», от «ораторов», к которым они привыкли за последние 2—3 недели. Лучше повалила толпа на митинги, и характер этих митингов изменился: настроение их стало более деловое, сосредоточенное; читались телеграммы, делались доклады с мест; наметился новый порядок обсуждения, — по профессиям, по отдельным заводам, по районам.

8-го октября на митинге в Военно-Медицинской Академии только и было речи, что о всеобщей забастовке. И характерная подробность: в се ораторы всех партий высказывались против забастовки.

Аргументов было множество.

всеобщая забастовка в России невозможна, так как подобное выступление требует чрезвычайной организованности пролетариата;

всеобщая забастовка бесплодна, так как это оружие недостаточно остро, чтобы заставить капитулировать правительство;

всеобщая забастовка опасна, так как она бьет по интересам масс населения и вооружает их против рабочего класса.

Общий вывод:

Не забастовка, а восстание!

Один за другим подымались на кафедру социал-демократы и социалисты-революционеры и страстно призывали рабочих «не поддаваться на провокацию», — конкретно это означало: не бастовать и готовиться к восстанию¹⁾.

То же самое повторилось на митингах 9-го и 10-го октября, — когда Москва, Харьков, Ревель уже бастовали.

11-го октября на митинг в Университет собралось свыше 30 тысяч человек. Актовый зал был преобразован петербургскому отделению железнодорожного союза. Выступали исключительно железнодорожники. После обсуждения доклада делегатов, управленческих союзом для переговоров с Хитловым (министром Путей Сообщения) и с Витте, митинг единогласно постановил:

¹⁾ Отмечу, что эти призывы начались еще раньше, до 7-го. Революционные партии боялись, как бы разрозненные забастовки («по сочувствию») и по частным эконо-мическим поводам не повредили предстоящему восстанию. 5-го октября на митингах выносились резолюции в этом смысле.

Петербургскому узлу присоединиться ко всеармянской железнодорожной забастовке.

Ниже я вернусь еще к этому решению. А пока отмечу, что в то время, как в Актовом Зале Университета выносились эта резолюция, в бесчисленных аудиториях, переполненных рабочими, и во дворе, где с двух трибун, под открытым небом, произносились речи перед толпой, — все еще шла агитация против забастовки.

Впрочем, вечером 11-го уже раздавались отдельные голоса в пользу всеобщей забастовки, — как переходного этапа к вооруженному восстанию.

Настроение рабочей массы развивалось в эти дни по каким то своим внутренним законам, независимо от партийных лозунгов, независимо от речей, которые раздавались с ораторской трибуны. Рабочие с каждым часом все решительнее склонялись в пользу забастовки, которая представлялась им единственным находящимся в их руках оружием борьбы. Они аплодировали речам о вооруженном восстании, отвечали криками «правильно» на призывы «не поддаваться на провокацию», а между тем думали про себя свою думу... И эта их дума, это их молчаливое, все больше крепнувшее решение передавались ораторам, заставляли их порой говорить не то, что они готовились проводить, отправляясь на митинг, и не то, чего требовала их партия.

11-го меня вызвали из Университета в Военно-Медицинскую Академию, где собралось несколько тысяч рабочих, а говорить было некому.

Приехал я туда. Аудитория, опускающаяся вниз полукруглым амфитеатром, набита битком. Все — рабочие Выборгской Стороны. Предлагают мне говорить о политической забастовке. Чувствуя, что необходимо дать рабочим прямой ответ на волнующий их вопрос, и не решаясь брать на себя ответственность в столь серьезном деле, я попросил одного товарища немедленно ехать на явку Петербургского Комитета и затребовать указаний, что говорить о забастовке. В ожидании ответа, я начал речь о политической стачке вообще, как об одном из орудий борьбы пролетариата. Когда я кончил, председатель (тоже социал-демократ большевик) предложил произвести опрос собравшихся о намерении на их заводах. Начались доклады с мест.

Слустья час возвращается товарищ, посланный мною на явку Комитета; привозит ответ: «Петербургский Комитет заканчивает обсуждение вопроса, через полчаса будут присланы директивы».

Проходят полчаса, час. Никаких вестей из Комитета. Между тем, митинг продолжается. Говорят исключительно рабочие, — и все говорят одно и то же: забастовка необходима, забастовка должна быть объявлена немедленно, не может рабочий Петербург отставать от других городов!

Уже двенадцатый час. Собрание хочет подвести итоги, оформить свою мысль. Раздаются голоса:

— Пускай теперь партийные говорят! Пускай товарищ оратор нам скажет!

Просят меня взять слово. Невольно подчиняясь общему порыву, я начинаю свою речь:

— Товарищи! что могу я прибавить к тому, что

уже было сказано? Да здравствует всеобщая забастовка!

Премит рукоплескания. Сидевшие на скамьях поднялись со своих мест.

В это время к столу председателя подбегает студент, передает ему сложенную записку, что тот шепчет ему на ухо. Председатель бросил взгляд на бумажку, прогнул ее, было, мне, но затем раздумал, отложил ее в сторону и слушает мою речь. Когда я кончил, председатель передал мне бумажку. На ней было написано следующее:

«Директива агитаторам — выяснить про и contra забастовки.

П. К. Р. С.-Д. Р. П.»¹⁾

Это была, все же, директива! У эсеров не было и того. И лишь меньшевистская «Группа», как я узнал позже, приняла в этот вечер решение, которое в дальнейшем должно было привести к образованию Петербургского Совета Рабочих Депутатов.

А 12-го октября в Петербурге была уже всеобщая забастовка.

В следующей главе я расскажу подробнее о том, как она началась, пока же, забегая немного вперед, я остановлюсь на том, что происходило в эти дни в Университете.

Ни в сентябре, ни в начале октября правительство не принимало никаких мер против революционной агитации в стенах высших учебных заведений.

¹⁾ Эту «директиву» хорошо помнят товарищи, вместе со мной бывшие в большевистской ораторской коллегии в конце 1906 года.

Борьба самодержавия с революцией велась в это время партизански-анархическими методами: в то время, как одни из администраторов проявляли свое усердие погромами, избиванием кремольников, другие думали лишь о том, как бы выйти сухими из воды, избежав и пули террориста, и гнева начальства. В Петербурге явно преобладала именно эта предупредительная тенденция. С одной стороны, в городе, являвшемся местом пребывания иностранных посольств, в непосредственной близости от Европы, на глазах у корреспондентов европейских газет, неудобно было устраивать погромы, а других способов борьбы с крамольной администрацией не знала. С другой стороны, усердие администраторов-головорезов парализовалось здесь близостью безвольного, вечно колеблющегося, капризного самодержца. К тому же и тени павших 9-го января еще витали над Петербургом, как предостережение тем, кто вздумал бы вновь устроить бойню безоружных рабочих. Наконец, начальство не было вполне уверено в войсках и боялось отдать им приказ, который мог бы послужить сигналом для открытого возмущения.

В силу всех этих условий, Петербурга не коснулся тот смерч погромов, который уже гулял по России. И потому именно Петербург имела, главным образом, в виду черносотенная печать, сетуя на то, что «начальство ушло».

12-го октября, когда Петербург был уже охвачен всеобщей забастовкой, правительство, или, точнее, придворные круги решили действовать. Начальство вернулось. 13-го Трепов, принимавший на себя руководство операциями, начал стягивать

⁷ Войтинский.

в Петербург из близлежащих мест наиболее надежные воинские части.

14-го он издал свой исторический приказ:

«Патронов не жалеть и холостых залпов не давать».

Одновременно было опубликовано постановление правительства, категорически воспрещавшее политические собрания в стенах высших учебных заведений. Наблюдение за исполнением этого распоряжения возлагалось на советы профессоров, причем им вменялось в обязанность, в случае недействительности иных мер к предупреждению митингов, закрывать высшие учебные заведения. Вместе с тем рабочим бросалась небольшая поддача: им предложено было — «бездельно» — для собраний три помещения (народный дом гр. Паниной, Василеостровский театр и народный дом Нобеля). Для Университета создавалась серьезная опасность. Днем в Актовом Зале собралась студенческая сходка. Присутствовало на ней около тысячи человек довольно случайного состава.

Ректор И. И. Боргман обратился к студентам с речью, заклиная молодежь, в предупреждение кровопролития, согласиться на временное закрытие Университета. Совет Старост, застигнутый врасплох, поручил мне ответить на эту речь.

Я заявил, прежде всего, что признаю справедливыми опасения ректора, признаю, что студенчество идет на встречу опасности, — быть может даже, на встречу кровавым жертвам. Но разве бывает борьба без опасностей? Разве возможна революция без жертв? Разве жертвы, ожидающие нас, будут

первыми жертвами, принесенными за освобождение России?

Напомнив решение сходки 13-го сентября, я предложил резолюцию:

«Университет, открытый во имя интересов революции, останется открытым, не смотря ни на что».

Эта резолюция была принята сходкой почти единогласно. Впрочем, я тогда же говорил партийным товарищам, что не следует переоценивать этого голосования: многие студенты, голосуя за мою резолюцию, в душе, наверное, давали себе слово не показываться в Университете, «пока все не уляжется».

Но это не могло смутить нас: поглощенные мыслью об использовании университетских стен для агитации среди рабочих, в то время мы уже мало заботились о революционной температуре студенчества.

14-го октября в Университете собрался митинг Союза Союзов. По довольно осторожному подсчету, в Актовый Зал, в аудитории и во двор набралось до 40 тысяч человек. Это был самый многочисленный из митингов этого периода. Говорили о всеобщей забастовке. Состав собравшихся был интеллигентский, рабочих было мало. Но чувствовался большой подъем. Резолюции о присоединении ко всеобщей забастовке принимались единогласно.

В отдельной Аудитории собралось петербургское отделение Академического Союза. Большинство собрания составляли младшие преподаватели (приват-доценты, лаборанты). Из профессоров яви-

лись лишь немногие, наиболее левые, — помню среди них пр. Е. Тарге.

Положение Академического Союза в эти дни было не из легких.

Ему, как члену Союза Союзов, приходилось определять свое отношение ко всеобщей забастовке.

Забастовать? Но забастовка профессоров и преподавателей в то время, когда студенчество откалывается от этой формы протеста, практически означала бы закрытие высших учебных заведений вопреки воле студенчества, то есть капитуляцию перед Троповым.

С другой стороны, не бастовать в то время, когда все бастуют? Соглашается ли такая линия поведения с требованиями гражданского долга?

Собрание решило заслушать по этому вопросу мнение представителей студенчества. И так как заседание происходило в стенах Университета, то, естественно, обратились к нашему Совету Старост. Как представитель социал-демократической фракции Совета, я выступил с разъяснением тактики студенчества.

В начале моей речи произвел небольшой инцидент. Я говорил охрипшим от митинговых выступлений голосом и одет был по заводскому, в рабочих сапогах и косоворотке. Это вызвало протест со стороны одного из членов собрания:

— Мы хотели бы слышать речь представителя студентов, а не рабочих!..

В своей речи я доказывал, что для успешного проведения всеобщей забастовки необходимо, чтобы высшие учебные заведения оставались открытыми, ибо нет другого места для устройства рабочих митингов. Поэтому, несмотря на всеобщую забастовку, долг профессоров продолжать читать лекции.

Кто-то спросил:

— Неужели на Университетской линии труднее распределить толпу рабочих, чем на Шлиссельбургском тракте?

Я ответил:

— Повидимому, труднее. Митинги идут уже четвертую неделю, а до сих пор не пролилось ни единой капли крови.

— Но завтра, быть может, кровь польется ручьями.

— Может быть... Но пока высшие учебные заведения служат нам.

Один из присутствовавших — кажется, Тарге — сказал:

— Я думаю, что в данном случае решающее слово принадлежит студенчеству и, в частности, его революционной части. У меня нет уверенности в правильности принятой студенчеством тактики, но я не вижу для нас возможности изменить эту тактику. Мы должны принести ту жертву, которой требует у нас представитель Совета Старост.

И собрание приняло, в конце концов, следующую резолюцию:

«Признавая, что в настоящее время устройство митингов является потребностью страны, не удовлетворяемой вновь созданными правилами о собраниях, мы, члены петербургского отделения Академического Союза, в ответ на распоряжение правительства, опубликованное 14-го октября, заявляем, что препятствовать устройству митингов не должны».

гов в стенах высших учебных заведений мы не будем. Вместе с тем, мы решительно отказываемся закрывать высшие учебные заведения. Применение правительством вооруженной силы к прекращению митингов мы считаем преступлением против народа».

Но наши митинги уже подходили к концу.

* * *

Последний митинг в Университете состоялся вечером 15-го октября.

С утра стало известно, что правительство — или, может быть, градоначальство (ибо ген. Трепов представлял в эти дни верховную власть и для Петербурга, и для всей России) — решило вооруженной рукой положить конец митингам в высших учебных заведениях, и что в этот день войска будут пущены в дело.

Снова собралась легучая сходка в Актовом Зале. Но зал был далеко не полон: в это утро в Университете едва ли было более 600—800 чел.: все более осторожные и умеренные студенты сидели по домам, а сошлись в Университет горячие, революционно настроенные юноши-первокурсники.

Говорили о том, что делать в случае нападения войск.

Один эсер-кавказец с большим жаром развил план обороны: заранее забаррикадировать окна нижнего этажа и все двери, кроме главного входа с Университетской линии; у главного входа заготовить материалы для того, чтобы можно было в любой момент соорудить и здесь баррикаду; у

50
всех баррикад поставить вооруженные революверами дружины...

Это предложение встретило сочувствие пред нас, в партийных кругах, не обсуждался предельно вопрос о возможности вооруженной обороны Университета. Но пока говорил пылкий кавказец, я с полной ясностью представлял себе, в какой кровавый фарс провоз превратиться эта затея.

Возражая оратору эсеру, я начал с критики позиций, избранных им для боя с войсками самодержавия. Из всех зданий Петербурга, говорил я, менее всего пригодно для барикадной обороны здание Университета, — со всех сторон открытое для обстрела, вытнутое на четверть версты в длину, со стенами, состоящими чуть не сплошь из окон. Да и чем будем мы оборонять это здание от пушечного огня? Но нужно подумать о другой опасности, — о панике, которая может овладеть толпой при приближении войск.

И я предложил, не отменяя вечернего митинга, принять меры к тому, чтобы иметь возможность в случае надобности, распустил его, не доводя дела до кровопролития.

После меня взял слово студент Никольский. Он наметил ряд практических мероприятий: выяснить имеющиеся запасные выходы, подготовить пути для выпуска толпы с университетского двора на боковые улицы, наметить достаточное число порывателей, установить наблюдательные посты во дворе Университета, иметь наготове лиц для переговоров с войсками, заранее предупредить собравшихся о возможной опасности, не допускать на

митинг детей и женщин, организовать, на всякий случай, отряды скорой помощи.

Никольский в первый раз выступал на сходке. Но говорил он уверенно, резко, будто отдавал приказания. Тут же было решено поручить ему руководство «обороной» Университета, и он немедленно приступил к делу, открыв запись добровольцев.

Так родился знаменитый «академический легион»: хотя Никольский, как человек, прошедший военную школу, и придал своей работе полувойенный характер (со «штабом», службой связи, службой разведки и т. д.), но по существу это была совершенно невинная организация «распорядителей» с белыми бантами...

Работа кипела. На дворе разбрали какие-то изгороди, в «штабе» изучали план города, в коридоре и на лестнице появились цепи дежурных. Никольский, уже получивший среди студентов кличку: «генерал Трепов», или более кратко «генерал», поспевал повсюду.

К 8 ч., когда начала собираться в Университет «митинговая» публика, все приготовления были закончены. Двое старост стояли внизу, у входной двери, и предупреждали приходящих:

— Сегодняшнее собрание может закончиться столкновением с войсками. Может быть, вы вернетесь, пока не поздно?

Рабочие проходили мимо, добродушно посмеиваясь:

— Это на счет того, что патронов велено не жалеть? Ничего!

Вернувшись после предупреждения лишь несколько дам, пришедших на митинг из любопытства. Да еще мы отказались пропустить группу гимназистов и гимназисток, которые, без нашего ведома, назначили на этот день в Университете свое собрание. Ребята были крайне обижены. Один из них, стройный юноша с симпатичным лицом, горячо доказывал:

— Вы становитесь на бюрократическую почву... Вы судите о людях по форме, которую они носят... У гимназиста нашлись заступники среди рабочих. Но старосты остались непреклонны.

Тогда гимназисты заявили:

— В таком случае мы устроим собрание во дворе Университета, под открытым небом! Мы разойдемся, лишь подчиняясь силе.

И, действительно, они открыли свое собрание во дворе, пользуясь кучей каменного угля, как TRIBУНОЙ, и, кажется, вынесли здесь резолюцию протеста против Совета Старост.

Что касается до митинга в стенах Университета, то на этот раз народу на нем было сравнительно не очень много, тысяч 10—15. Но настроение собравшихся было исключительно боевое.

В этот вечер я должен был выступить с речами чуть ли не десять раз — и в актовом зале, и в отдельных аудиториях. Помимо этого, на мне лежали сношения с Никольским, и я то и дело поднимался в третий этаж, в его «штаб», куда поступали донесения «разведчиков».

Университет со всех сторон был окружен войсками, но держались они на порядочном расстоянии, образуя широкое — и не сплошное — кольцо,

радиусом около версты. Значительные силы стояли у Биржи, другой отряд был сосредоточен на противоположном берегу Невы, у Адмиралтейства. Отмечались передвижения войсковых частей на Васильевском острове.

Но противник медлил, как будто неуверенный в своих силах. Проскакали по Университетской линии казаки, проехав через дворцовый мост артиллерия, быстрым шагом прошла мимо Университета пехота.

Митинг продолжался.

Поток конницы выткнулся против фасада Университета, вдоль противоположного тротуара, и замер неподвижно. Но это была лишь демонстрация, а не подготовка нападения, — ясно было, что кавалеристы не могут развернутым строем атаковать здание, отдаленное от улицы высокой железной оградой. Мы решили не обращать внимания на этот маневр.

Но вот, конница перестраивается. Сплошная линия ее разбилась на отдельные звенья, собралась в три-четыре темные, неподвижные массы. В промежутках между группами всадников появлялись пехота. Лягает оружие, стучат конские подковы по камням мостовой, всадники спешиваются, равняются по пехоте, лошадей уводят куда то назад, в темноту.

Положение становится более серьезным. Но линия солдат неподвижна. Будет ли отдан приказ атаковать?

Во всяком случае, без предупреждения огня не откроют. Время еще есть. Будем продолжать митинг!

Прибегают «разведчики», посланные Никольским к Дворцовому и Тучкову мостам, в тыл выстроены против Университета солдаты.

— Прибыла артиллерия! Орудия снимаются с передков, устанавливаются против Университета!

Из окон комнат, занятой «штабом», видно движение за линией войск, видны сигналы, подтверждающие донесения «разведчиков»¹⁾. Повидимому, приближается решительный миг. Нужно быть готовыми ко всему. Посылаем предупредить комиссию, уполномоченную на ведение переговоров с противником. Я бегу в Актовый Зал и занимаю место рядом с председателем, чтобы, по получении записки от Никольского, распустил собрание.

С высокой кафедры видна часть Университетской линии, виден неподвижный строй солдат, видны мелькающие позади этого строя странные тени. Актовый Зал набит битком. Как распустить эту толпу без давки в дверях, без паники?

Мне подают записку из «штаба»: «Пора закрыть собрание. Расходиться не всем сразу».

Показываю записку председателю. Тот дает мне слово «для внеочередного сообщения».

В это время протиснувшись в зал группа студентов распорядителей с белыми повязками на рукаве. Они расположились цепью поперек зала, отрезав задние ряды.

Я начинаю свою речь:

¹⁾ Чтобы не придавать событиям этого дня преувеличенного значения, я должен отметить, что не знаю наверняка, была ли, на самом деле, выставлена против Университета артиллерия: я допускаю, что наши «разведчики» в темноте приняли за пушки обоя походных кухонь...

— Вы знаете, товарищи, о провокации, задуманной Треповым. Я должен сообщить вам о последних действиях петербургского градоначальника. Его войска уже выстроены против Университета, в нескольких шагах от нас... На нас наведены жерла пушек...

Крики негодования несутся из толпы. Но нет признаков испуга. Самый опасный момент прошел: паники не будет, мы успеем распусти митинг, прежде чем здание наполнится солдатами. Но нужно распустить митинг так, чтобы рабочие не унесли с собою в районы горького чувства поражения!

И я продолжалю речь:

— Как ответим мы на провокацию Трепова? Мы не готовы к бою, у нас нет оружия, мы пришли сюда для обсуждения своих нужд, а не для вооружения. Так разойдемся же теперь в полном спокойствии и порядке!.. Товарищей, стоящих ближе к дверям, за цепью распорядителей, прошу покинуть собрание... Остальных прошу не двигаться с места... Я продолжалю, товарищи! Мы не отказываемся от своего права свободно собираться в стенах Университета... Мы вернемся сюда и силою оружия вернем себе эту трибуну...

— Завтра! несутся из толпы: Завтра все, с оружием, к Университету!

— Да, завтра! подхватываю я родившийся в толпе лозунг: Завтра все к Университету, с оружием в руках!

В это время цепь распорядителей уже передвинулась ближе к кафедре, отрезав вновь часть толпы. Вновь отпущена задняя часть толпы.

— Назначьте время на завтра! кричат уходящие.

— 3 часа! отвечаю я: А сейчас прошу уходящих не задерживаться в коридоре...

— До завтра! несутся крики.

Стоявший рядом со мною агитатор-большевик Леонид схватил меня за руку:

— Что вы делаете? Разве можно так назначать вооруженную демонстрацию? Знаете, что произойдет завтра?

Но я был настолько поглощен своей задачей распусти сего дня широчайший митинг, что не мог думать о завтрашнем дне.

Голос у меня сорвался. Леонид сменил меня. У меня шевельнулась мысль, что, быть может, Леонид был прав, и не следовало призывать рабочих идти к Университету с оружием. Родилась надежда, что товарищ исправит дело. Но куда! Леонид с еще большей страстью, чем я, повторял:

— Так помните, товарищи! Завтра, в 3 часа! С оружием! Что у кого найдется! Все на решительный бой!

А час спустя я узнал, что совершенно независимо от меня и от Леонида в десятке аудиторий, десятках ораторов, закрывая собрания, повторяли тот же лозунг!

В первом часу ночи солдаты заняли все входы в Университет и вошли в главные двери. Но ни в ярко освещенном Актовом Зале, ни в аудиториях уже не было ни души. Лишь группа студенческих старост встретила солдат на площадке лестницы.

Командовавший отрядом офицер заявил нам, что мы можем оставаться или расходиться по домам, так как ему приказано пустить в ход оружие против

посторонних лиц, собравшихся в числе многих тысяч в Университете, а не против десятка старост. Часов до 5 утра мы просидели в университетской канцелярии, а когда рассветало, пошли спать.

Здание Университета осталось в руках правительственных войск. В эту же ночь были опелены и все остальные высшие учебные заведения. Лишь в Технологическом Институте заперлась группа студентов, решившая оказать сопротивление войскам. Но эта попытка не имела серьезных последствий. Не имея последствий и наш призыв к вооруженной демонстрации перед Университетом¹⁾...

Подоса митингов в высших учебных заведениях оборвалась. Но победа ген. Трепова оказалась призрачной: всеобщая забастовка продолжалась.

II. СРЕДИ РАБОЧИХ.

Петербургские рабочие в 1905 г. — Первый раз в рабочем квартале. — Пропагандистский кружок. — Начало всеобщей забастовки. — Как родилась мысль о Совете Рабочих Депутатов. — Первые шаги С. Р. Д. — В дни забастовки. 17-го октября. — После манифеста. — Военный митинг. — Конеч октябрьской забастовки. — Заводские митинги. — Большевики и С. Р. Д. — Союзное строительство. — Митинг окололочных. — Борьба за 8-часовой рабочий день. — Выступление черной сотни. — 29 октября в С. Р. Д. — За Невской заставой. — Кроштадтское восстание. — Начало второй забастовки. — На путликовском заводе. — Брашна рабочие. — Конеч забастовки. — Вторая забастовка и общество. — Польский митинг. — Локаут. — Последние условия. — Чем был Совет Рабочих Депутатов?

К 1905 году рабочее движение в Петербурге имело уже за собой длинную историю. Но едва ли можно было найти среди местных рабочих хоть десять человек, которые хранили бы память о пройденном петербургским пролетариатом пути.

В течение тридцати лет упорно работала мысль в рабочих кварталах Петербурга. Но столь же упорно работала все эти годы царская охранка. Задумав движение, задерживать на ростание революционных настроений в рабочих массах она не могла, но ей удалось помешать накоплению в этих массах политических знаний и традиций.

Помню, с каким благоговением слушала в сентябре 1905 года рабочая толпа агитатора, рассказавшего ей о Степане Халтурине. Но точно также стала бы слушать она о Спаргане: имя основателя

¹⁾ Об этом подробнее в следующей главе.

Северного Рабочего Союза было для нее столь же новое, неизвестное, как имя вождя римски гладиаторов. И если Степан все же казался более близким и дорогим, то лишь потому, что «товарищ оратор» разъяснил, что это был св брат, питерский мастеровой.

Общий уровень политической сознательности петербургского пролетариата понижался тем, что состав его был непостоянный, текущий. Старых рабочих, проводивших на заводе или на фабрике всю жизнь, в Петербурге было немного, да и держались они, по большей части, в стороне от революционных выступлений.

Много было на заводах чернорабочих, — из крестьян, лишь недавно пришедших из деревни в столицу. А на фабриках было много совершенно темных женщин-работниц. Но в недавнем прошлом было у них широкое захватывающее движение, которое в се петербургские рабочие пережили сообща, — было движение 9-го января. И благодаря этому кровавому уроку, к осени 1905 года в рабочих массах Петербурга уже не было и следа монархических настроений, на которых выросли зубатовщина и гапоновщина.

Остатки веры в царя встречались чрезвычайно редко. Я лично помню лишь два таких случая: раз одна работница на фабрике Штиглица заметила при мне, что «трех царя ругать», другой случай произошел на Франко-Русском заводе.

Бесменным председателем рабочих собраний на этом заводе был Петр — рабочий лет 30-ти, выдающийся оратор (его речь временами текла, как белые стихи) и человек прекрасной души, — добрый

и чуткий. Рабочие относились к нему с трогательной любовью. Как то, при мне, открыв митинг краткой агитационной речью, Петр предложил выступить товарищам, которые с ним неогласны. На трибуну нерешительно поднялся пожилой рабочий-мужичок и начал:

— Не пойму я тебя, Петр. Человек ты хороший, и за нас стоишь, а между прочим — против царя идешь... Как оно так можно?

— Да потому я и иду против царя, отвечает Петр, что я стою за рабочее дело.

— Так оно непохоже выходит, настаивает мужичок: так понимаю, — коли ты за народ, значит, должен стоять за царя. А коли ты против царя, так должен идти супротив простого народа.

И не замечая расущей веселости собрания, мужичок обратился к толпе:

— Правильно я, товарищи, разъяснил? Как вы нашего Петра понимаете?

Ему отвечал дружный хохот, и, недоуменно разводя руками, он спустился с трибуны.

Впрочем, спустя несколько дней, и этот мужичок отказался от своих монархических взглядов, о чем и заявил публично на очередном митинге:

— Теперь я тебя, Петр, одобряю. Теперь я и сам против царя.

— Кто же тебя вразумил? спросил его председатель.

— А казак!

Накануне, поздним вечером, возвращаясь домой, он попался на глаза казацкому раз'езду, и казак избил его, приговаривая:

— Будешь против царя бунтовать!

8 Войтинский.

Отрицательная часть революционной программы — против начальства, против хвостов, против царя, — была к осени 1905-го года основательно усвоена рабочими массами Петербурга. Хуже обстояло дело с положительной частью программ, усвоение которой требует длительной, упорной массовой работы, и, увы, дорого стоящих денежных уроков.

Отмечу еще, что уровень сознательности рабочих в Петербурге был неодинаков в различных районах: металлисты шли вперед текстильщики; пригороды были настроены революционнее, чем центральные районы; печатники резко выделялись из остальной массы городских рабочих; на заводах «горячие» цехи (кузнечный, литейный, прокатный, котельный) отставали от «холодных» мастеровских (слесарных, токарных и т. п.). Наконец Семинковский, Обуховский и Александровский заводы за Невской заставой, Лесонер и Парвизинен на Выборгской стороне, Трубопрокатный на Васильевском острове проявляли больше готовности к революционным выступлениям, чем, например, путильовцы, столь жестоко пострадавшие 9-го января и обесиленные летней забастовкой.

Митинговая кампания конца сентября и начала октября затронула, хотя и не в равной мере, почти все уголки рабочего Петербурга. В стороне от движения остались лишь немногие предприятия, полны смутного ожидания чего то, что должно изменить всю их жизнь, и потому так легко, так быстро воспринимали они революционную пропаганду.

Ожидание чего то огромного, надвигающегося неведомо откуда и несущего загадочное, страшное, манящее имя «революции», это почти мистическое ожидание было наиболее характерной чертой в настроении рабочей толпы накануне октябрьских дней.

Я хочу рассказать подробнее о моей первой встрече с подлинной рабочей толпой, — не на городском митинге, а в глуши заводского квартала¹⁾.

Это было около 20-го сентября. В университетской столовой было назначено в этот вечер смешанное собрание большевиков и меньшевиков для дискуссии о фракционных разногласиях. Докладчиками должны были выступить товарищи, только что приехавшие из за границы.

С большим интересом шел я на это собрание, ибо после десяти дней партийной работы я уже чувствовал, что без знакомства с фракционными разногласиями — я в рядах Р. С.-Д. Р. П., как не знающий дороги странник в лесу.

В это время революционные партии только начинали понемногу вылезать из подполья, и потому собрание, хотя о нем уже за несколько дней почти открыто говорили в Университете, было обставлено всем внешним аппаратом конспирации: перед зданием — «шатуры»; у дверей, при проверке

¹⁾ В январе 1906 г., в «Крестках», я, по свежей памяти, записал эту встречу. Неколько лет спустя, я переработал свои записки, придал им беллетристическую форму и в виде рассказа поместил их в «Провещении» (1913 г., № 1) под довольно неудачным заглавием «Луч света среди мрака». Рассказ навлек на журнал цензурные карги: № был конфискован и против редактора, как и против автора, было возбуждено судебное преследование.

бигеров, — особые дежурные, спрашивающие «пароль»; на лестнице — новые контрольные заставы.

Все это было для меня ново и очень мне нравилось. Нравился мне и состав собрания, — было довольно много заводской молодежи, в высоких сапогах, в ярких цветных косоворотках, — все более или менее похожие на Старостина, ослепившего меня на сходке 13-го сентября.

В ожидании начала собрания я присоединился к кучке университетских аэдаков, на площадке лестницы слушавших рассказ Абрама о проведенной им на Путиловском заводе лекчке.

К нам подошел с озабоченным видом рослый, усталый человек, — я уже знал, что это представитель Петербургского Комитета тов. Антон.

— Вот что, товарищи, обратились он к нам: Сегодня вечером рабочий митинг за Невской заставой, ктонибудь должен ехать. Может быть, вы отправитесь, товарищ Абрам?

Но Абрам отказался под предлогом необходимости для него присутствовать на дискуссии. Отказывались и другие агитаторы. Ссылались кто на простуду, кто на постановление комитета: обо всех митингах предупреждать агитаторскую коллегию накануне.

— Поезжайте хоть вы, товарищ Петров, обратились Антон ко мне.

Я был в то время «университетским», а не «заводским» агитатором, так что ночная поездка за заставу явно выходила за пределы взятых мною на себя обязанностей. Все же я ответил, что охотно поехал бы, но на чистого рабочих собраниях я никогда не выступал и не знаю, о чем и как там говорить.

— Это пустяки! решил Антон: Нельзя же в самом деле, допустить, чтобы рабочий митинг разошелся из-за того, что нет оратора, или оратор не знает, о чем говорить. Поезжайте! Чтонибудь скажете...

Очень не хотелось мне ехать, но «чувство долга» оказалось сильнее интереса к предстоявшей дискуссии. Неохотно спустился вниз, оделся и отправился в Невский район. Согласно полученному маршруту, взял у Адмиралтейства конку до Знаменской площади, а там пересел на паровичок, идущий за заставу по Шлиссельбургскому шоссе. Опять таки согласно инструкции, на паровичке вообразился наверх, на империят, — мне объяснили: что этого требует конспирация.

Было холодно, сыро, туманно. А одет я был легко, так как, уходя из дому, не предполагал к ночи отутлиться Бог знает где, за городом. Пропродр до костей.

По дороге стараясь приготовить речь. Но не было подходящей темы и, что еще больше смущало меня, никак не складывалась внушительная фраза. Знал твердо, что надо начать с обращения: «товарищи». Но дальше этого дело не шло. Вспомнил, наконец, что не прямо с паровика поеду на митинг, а должен сперва явиться на квартиру к организаторше подрайона, и это меня успокоило.

— Не буду думать о предстоящей речи. Спрошу у товарищей, чем больше всего интересуются местные рабочие.

Постепенно мысли мои приняли другое направление. Ни разу в жизни не бывал я, до этого вечера, в заводском районе. Все здесь было для меня ново.

Паровичок мчался по почти безлюдным, плохо освещенным улицам. Наверно и направо вырастали из мрака тяжелые громады зданий, — одни совершенно темные, другие пронзанные множеством одинаковых, ярко освещенных окон. Мрачным строем теснились высокие трубы; над ними из них колебались, подобные огненным языкам, клубы дыма. Местами целые снопы света вырывались из тьмы; ослепительно яркие искры извивались за стекляными стенами...

С шумом паровика сливался грохот железа, стук молотов, звуки колокола, какие то свистки, какие то выкрики. А людей не было видно, — и это придавало картине отпечаток мрачной таинственности...

Короче, когда я добрался до явочной квартиры, я был во власти новых впечатлений, и совершенно не представлял себе, о чем говорить в этом царстве огня и железа.

Организаторша подрайона встретила меня вопросом:

— Вы один? Мы товарища Абрама просили...

Я ответил: /

— Комитет прислал меня. Когда митинг?

Сидевший в глубине комнаты рабочий парень ответил:

— Время еще есть. Через час пойдем, и то поспеем.

— О чем должен я говорить?

— А о чем хотите.

— Все же, какие вопросы интересуют ваших рабочих?

— Да как сказать? Вот о республике скажите, о социализме, о партиях... О 8-часовом дне тоже спрашивали... Опыт и о свободе обяснить надо... О 9-м января хорошо бы... Ну, там, немного об Учредительном Собрании... Опыт и аграрный вопрос, — потому, соберутся все больше, которые из деревни... Про войну тоже очень интересно... Программу покажите...

— Позвольте, товарищ, перебил я его: Сколько времени будет у меня для речи?

— Это как народ стоять будет... Нужно считать, минут 20, а то и полчаса будет...

— Как же вы хотите, чтоб я в 20 минут загнул все вопросы?

— Митинг то у нас впервые, так нужно народ заинтересовать...

Ясно было, что толкового совета от парня я не получу. А тут еще организаторша, недовольная тем, что из Комитета прислали меня, а не Абрама, с'завила:

— Я думала что те, кого они на митинг посылают, сами знают, о чем говорить...

Когда пришло время отправляться на митинг, парень обратил внимание на мою каракулевую шапку. Повернув ее в руках, он сказал:

— Шапочку лучше здесь оставьте, а то потерять можете.

И сняв с гвоздя мохнатую папаху, он прогнул ее мне:

— Это наша, организационная. Ее и агитаторам, и пропагандистам даем: тепло, и лицо закрывает, и, в случае если казаки, или что такое, для головы пригодится.

Патяху я одел, но, признаюсь, напоминание о необходимости заранее защитить голову от нагайки окончательно испортило мое настроение.

Организаторша пошла проводить нас. Долго шли по темной улице, по длинным досчатым мосткам, вдоль бесконечных заборов. За заборами заливались собачки. Кое где, сквозь щели заборов, виднелся слабый свет, вырвавшийся из за плохо прикрытых ставень. В воздухе чувствовалась ледяная сырость.

Я придумывал, как начать речь, чтобы сразу заинтересовать толпу. Но ничего не мог придумать.

Вышли на широкую дорогу. Впереди бесконечный пустырь. За ним слабое зарево в небе. Вдали редкая цепь огней. Налего и направо от темного переулка, которым мы шли, заборы; вдоль них высокие деревья.

Рабочий, провожавший меня с явочной квартиры, негромко свистнул. Ему ответили из темноты остроконечным покашливанием. От забора отделились какие то тени, три человека выступили из темноты и подошли к нам:

— Павел, ты?

— Я. Оратора привел. Скоро пойдут?

— Сейчас...

— Организовали все?

— Как жел! Васька в замок глины набил — новых ворот не откроют, все сюда повалят.

— А наши?

— Здесь мы трое, у ворот двое, остальные с ночной сменой впереди пойдут... Патрули на местах. Старик против участка на ларе сидит, семечки щелкает, на него никто не подумает,

а от него цепью с угла на угол... Одним словом — полный порядок!

— Ну, занимай позицию! Ты, Федя, за канаву становись, я посреди дороги стану, вы — по бокам. Сперва только своих задерживать. А когда я скажу — стой! — рука с рукой сцепимся... И уж ни с кем. Да ты, Федя, конец то цепи крепче держи, — много народу потом пойдет, так чтобы не упустишь.

Павел, от которого на явке я напрасно старался получить толковый совет, о чем говорить, здесь, распоряжаясь уверенно и спокойно, как командир выступающей своей отряд к бою. Заняли «позиции». Я остался в тени, у забора. Справа спешно подошли к нам два человека. Шепнули Павлу:

— Идут! — и встали по краям дороги.

Теперь издали доносились невнятный шум. Мимо нас проходили согнутые фигуры. Шли все в одном направлении, справа налево. Кучка людей на дороге и по сторонам от нее заметно росла. Стоявший рядом со мной человек шепнул:

— Остановить бы! А то все пройдут...

Другой голос ответил:

— Павел укажет, — вот когда пойдут погуще... Меня крайне занимали эти приготовления, а о том, что мне предстоит сейчас говорить речь, я совершенно забыл.

Теперь люди шли густой толпой, валялись стеной. Вдаль с дороги раздалась команда:

— Стой!

И будто живая стена выросла поперек дороги. Толпа остановилась. Повидному, сзади напирали. Получилась давка. Раздавались сердитые окрики...

— Что там стали? Нашли, сволочи, время. Дня им мало!

— Положите, товарищи! надрывался Павел: Сейчас оратор говорить будет.

Но недовольные голоса возражали:

— Домой пора! Что посреди дороги стали?

— Да нечего, товарищи! кричал Павел: из города оратор приехал... Послушайте!

— А ну, пускай говорит!

— Не шуми там, дай слушать!

Я сделал несколько шагов вперед, вглубь толпы. Попал обеими ногами в лужу, прикрывшую снегом, почувствовал вокруг себя тяжелое дыхание, запах пота и копоти, и начал речь.

Начал с ответа недовольным. Говорил, что конечно, пора идти по домам. Кому охота стоять посреди дороги в темную ночь, в сыкоть и стужу, да еще на тощий желездук, да еще после целого дня работы?

— Верно! поддакивали из толпы.

Затем, перешел к вопросу, почему приходилось нам устраивать собрания ночью, среди пустырей, тайком, когда мы хотим поговорить о том, как бы улучшить жизнь рабочего люда.

Говорил я без всякого плана, но сами собой набегали нужные слова, понятные толпе. Слушали с глубоким вниманием. Изредка подтверждали:

— Верно! Правильно!

Издали донесся пронзительный свист. Кто то крикнул:

— Казаки!

Толпа в страхе парохнула во все стороны, — по дороге, к заборам, в поле.

— Нет никаких казаков! кричал Павел: стойте, товарищи! Оратор еще не кончил.

Сперва и я кричал вместе с ним, успокаивая, останавливая толпу. Но почувствовав, что так и скоро останусь без голоса, замолчал и стоял рядом с Павлом на дороге, дожидаясь, когда уляжется паника и рабочие соберутся вновь.

И, действительно, вновь собрались все. Толпа была теперь не меньше, чем вначале. Я продолжал речь. Говорил о том, что пережитых минутах страха.

— Ведь и впрямь могли налететь казаки, избили бы, покалечили бы, иных, быть может, положили на месте. И никакого суда, никакой управы!

Говорил о бесправии рабочего класса, о страхе, который внушает он хозяевам жизни, о революционной борьбе, — говорил самые простые вещи, которые подкапывались обстановка этого ночного митинга.

Когда я кончил, пожилой рабочий, стоявший рядом со мной, громко сказал, обращаясь к товарищам:

— А ведь все правда, все святая правда!

Он был очень высок ростом, на голову с плечами выше меня, с морщинистым, запыленным лицом, с сильной просечью в голове. В самом начале я заметил его, — он громче других выражал неудовольствие тем, что посреди дороги задерживают людей.

Теперь он наклонился ко мне, с невольной лаской положил мне на плечо свою огромную руку и сказал:

— Спасибо, товарищи!

Другие тоже благодарили, просили приезжать на завод¹⁾.

Павел весело крикнул:

— А теперь по домам! Другой раз на дворе митинг устроим.

— Устраивайте! Дело хорошее.

Тогда медленно потекла по дороге, в сторону пещи фонарей, мелькавших сквозь мглу вдали, над Шлиссельбургским трактом.

За углом нас ждала организаторша подрайона. От нее я узнал, что успех митинга полный: было свыше тысячи человек, речь длилась больше часу, все рабочие очень довольны...

Но, наверное, ни один из моих слушателей не унесил с этого митинга такого глубокого впечатления, как то, которое оставила во мне эта толпа усталых, измученных людей, бредущих среди холодной, мглистой ночи из закоптелых мастерских в убогие жилища.

* * *

На следующий день тов. Антон спросил меня, не хочу ли я взять рабочий пропагандистский кружок.

— Охотно.

— В таком случае, мы дадим вам кружок в самом передовом цехе самого лучшего завода. Металлическая мастерская Семиниковского завода за Невской заставой! Только вы, пожалуйста, хорошенько... По большевистски!..

И тов. Антон, сказав कुछа, промонструировал передо мной, как следует вести пропаганду.

¹⁾ Не помню, с какого именно завода были рабочие на этом митинге.

Затем, он вручил мне лектографированную программу занятий. Весь курс пропаганды разбивался на 10 лекций; первая лекция касалась самых общих вопросов, — чуть ли не происхождения нашей планеты; содержания следующих восьми бесед я точно не помню, но помню прекрасно, что десятая и заключительная лекция была посвящена вопросу о расколе в партии и критике мелкобуржуазной природы меньшевизма.

Прочитав программу, я спросил представителя Петербургского Комитета, имею ли я право отступить от этого плана занятий.

— А что? Изучился тов. Антон: Разве программа не хороша? Все в ней есть. Вот, смугрите!

И он начал читать ее вслух. Я перебил его:

— Мне этот план не нравится, и я не смогу точно придерживаться его.

Усы тов. Антона опустились к земле. Подумав, он сказал:

— Ну, ладно! Представьте свой план... Если ничего такого там не окажется, то мы посмотрим...

Когда я представил тов. Антону свой проект программы кружковых занятий, он нашел в ней лишь один недостаток: в ней не было вопроса о фракционных разногласиях. Зависело это от того, что не будучи сам знаком с этими разногласиями, я полагательно не знал, как об'яснить рабочим преимущества большевизма перед меньшевизмом.

Перечтя мой конспект раза три с начала до конца, тов. Антон промолчал, наконец:

— Это ничего. На фракционные темы у вас тов. Владимир будет читать.

— Это кто?

— Организатор подрайона. Он и на ваших лекциях будет присутствовать...

И я получил явочный адрес кружка.

Первое собрание кружка было назначено в ближайшее воскресенье. На боковой улице, в стороне от главного тракта, я легко разыскал указанный в явке домик. Дверь отворил молодой человек, высокий сапогах и в рубашке с матким воротом. Я был немного удивлен, узнав, что он слесарь по меди и один из членов моего кружка.

Разговор между нами не клеился. Я спросил рабочего, сколько человек в кружке, и какова их подготовка. А он, ответив довольно неопределенно, спросил меня, в свою очередь, играю ли я на балалайке.

Я ответил, что не играю, и хотел вернуться к делу. Но рабочий заметил:

— Хороший инструмент!

И сняв со стены балалайку, принялся тренировать, подбирая мотив марсельезы.

Так как я, отправляясь в рабочий кружок, заранее настроился на торжественный лад, то эти музыкальные упражнения показались мне весьма неуместными. Немного погоды пришел еще другой рабочий — молодой, безусый парень — и исходило собрание, была довольно просторная, с огромной печью по середине. Для меня был приготовлен стул у окна; после, на столе, был поставлен стакан холодного чая. Слушатели сидели на лавках и табуретах, некоторые стояли в проходе между печью и стеной.

Слушали, как будто, внимательно, но мне не удалось вызвать рабочих на вопросы и закончить лекцию непринужденной беседой. И потому у меня осталось впечатление, что лекция моя не очень понравилась слушателям.

Прежде чем расходиться, назначили день следующего собрания. Один из рабочих спросил:

— Опять в воскресенье соберемся?

Но другой возразил:

— В то воскресенье нельзя: 2-го кто придет?

Следующее воскресенье, действительно, приходилось на 2-ое октября, но я никак не мог сравнить, чем это мешает собранию пропагандистского кружка. Спрашивать об этом я постеснялся, но, со своей стороны, предложил:

— Может быть, соберемся в субботу?

Рабочие переглянулись, — иные улыбались, другие открыто смеялись. Токарь, спрашивавший меня о балалайке, ответил за всех:

— В субботу совсем нельзя. 1-го и пробовать не стоит.

Опять я ничего не понял. Назначили кружок на понедельник. Провожая меня до паровой конки, токарь пригласил меня зайти с ним в портерню. Немного конфузясь, я принял приглашение.

В портерной токарь спросил бутылку пива. Вместе с пивом нам подали два крошечных блюдечка с соевыми баранками и парой горошин на каждом. Говорили о Семиниковском заводе. Между прочим, я спросил моего собеседника:

— Почему это ни в воскресенье, ни в субботу нельзя собрать кружок?

Токарь на вопрос ответил вопросом:

— Да как же его соберешь, когда в субботу получаешь, а 1-го у следящих полный расчет за месяц?

Для меня все это было китайской грамотой.

Второе собрание кружка тоже прошло довольно вяло. Не знаю, что было тому причиной, — я ли не мог освоиться с ролью пропагандиста, или время было неподходящее для кружковых занятий, — но только рабочие слушали меня, как ученики на уроке, и когда я предлагал им задавать вопросы, выходило, что я тяну их за язык.

Впрочем, после кружка немного разговорились (о газетных новостях), и я почувствовал себя среди рабочих менее чужим, чем в прошлый раз.

Провожая меня, токарь спросил, не хочу ли я выпить с ним водочки. Я отказался, но сразу испугался, как бы мой отказ не обидел его. Однако рабочий не обиделся и сказал, что и сам, собственно, пить не любит, и что партийному человеку лучше к монополии даже близко не подходить, — чтобы не сказали про него, что он Николай поддерживает.

На этом мы расстались.

* * *

В понедельник, 10-го октября, я в третий раз приехал в свой кружок за Невской заставой.

Василий встретил меня в большом волнении:

— У нас здесь такая провокация пошла, что и представить невозможно.

И он рассказал мне, что утром по заводам разнесся слух, будто в Петербурге уже 6'я в л е н а всеобщая забастовка. Рабочие заводновались, по-

бросали работу, выскочили во двор. Никто не знает, кем обвинулена забастовка, и как и е выдвинуты требования. Да и мало интересовались этими вопросами, добивались лишь одного — узнать, происходит ли в городе забастовка, или нет. Пошумев во дворе, понемногу успокоились и принялись за работу.

— Как думаете, — товарищ, спрашивал меня Василий, — откуда эти слухи идут?

— А вы не заметили, кто первый поднял агитацию? Может быть, эсеры? Или анархисты?

— Не похоже. Мы спрашивали эсеров, — они не больше нашего знают. А анархистов у нас совсем нет...

— Значит, полицейская провокация! — решил я. — Так и мы думаем, подкинул — Василий.

Пошли мы с ним на квартиру, где должен был собраться кружок. К заготовленной лекции мне не пришлось приступить, — ни о чем другом, кроме как о забастовке, рабочие не хотели слушать.

В это время — под вечер 10-го октября — всеобщая всероссийская забастовка уже началась и с каждым часом распространялась все шире и шире.

Ни одна партия не может перед судом истории приписать себе инициативу этой забастовки. Началась она так, как занимается пожар в выходящем от летнего зноя лесу: откуда то загорела случайная искра, — и запылал необъятный костер, и по воле ветра легли вдаль новые искры, рождал новые пожары. Откуда взялась и е р в а я искра — из плохо заготовленного коопра пастухов, из трубки прохожего, из чашечки мимо паровоза, или это молния уда-

рига с неба — не все ли равно? Знойными днями, засухой подготовлен лесной пожар, — и здесь единственное обяснение его.

Сигнал к октябрьской забастовке дала Московско-Казанская железная дорога. Железнодорожники забастовали, не выставляя никаких общеполитических требований, не пытаясь связать свое выступление с общепролетарским движением, не справляясь с мнением революционных партий, не посоветовавшись даже со своим центром, — с недавним в то время в Петербурге делегатским железнодорожным съездом.

Забастовали они, в значительной степени, по недоразумению, на основании неверных слухов о расоне петербургского съезда и аресте его членов.

Почему забастовка началась именно в Москве, а не в Петербурге? Вероятно, потому, что в Москве атмосфера была более накалена, и возбужденное настроение рабочих масс не находило здесь выхода в митингах с их горячими речами, после которых можно было спокойно расходиться по домам...

Собственно, с середины сентября забастовки в Москве не прекращались.

19-го сентября началась здесь забастовка наборщиков типографии Сылтина¹⁾. Руководство борбой взял в свои руки полуделятельный «Союз московских типо-литографских рабочих», — и к 24-му забастовка охватила почти все московские типо-

¹⁾ Наборщики требовали, между прочим, повышения стелной платы «за каждую тысячу букв набора, не включая начислов препинаний». Это даго повел шутке: «все дело началось с запятой»...

графий. Из солидарности, к печатникам примкнули хлебопеки и целый ряд фабрик и заводов. Вмешалась полиция. Начались уличные столкновения. Были пушены в ход войска. Появились баррикады¹⁾.

В конце сентября забастовали, в виде протеста против насилий казаков над рабочими, мастерские Московско-Брестской железной дороги.

Пошли разговоры о всеобщей железнодорожной забастовке. Около этого времени в Москве выдвинулся «Совет Депутатов рабочих печатного дела». На собраниях представителей печатников, древообделочников, металлостов, табачников и других профессий было решено расширить эту организацию и образовывать общий Совет Рабочих всей Москвы...

А в Петербурге в эти дни было сравнительно спокойно. Шли митинги в высших учебных заведениях, но не было уличных столкновений, а до начала октября не было и забастовок.

Лишь 2-го октября, из солидарности с московскими рабочими печатного дела, забастовали петербургские типографии. Но эта забастовка считалась чисто профессиональным делом печатников, продолжалась всего лишь три дня и закончилась в заранее назначенный час принятием резолюции о несвоевременности забастовок по сочувствию и о необходимости беречь силы для решительного боя.

Вообще, в Москве уж давно лилась кровь, а мы, в Петербурге, все еще говорили и словами со-трисали перхонские стены царизма.

¹⁾ Особенно отличились в борьбе с полицией бунтари Филиппова.

Но наши слова, в конце концов, не остались бесплодными.

С 20-го сентября в Петербурге заседал съезд железнодорожников, невинный архи-легальный съезд, созданный начальством для обсуждения пенсионного устава. Рабочих на этом съезде было не очень много, преобладали служащие, — чиновники-управленцы, люди 20-го числа. В начале никто не придал этому съезду большого значения. Но постепенно в его среду проник революционный дух. Расширились рамки прений. Появились не предвиденные начальством требования. Экономические и узко-профессиональные вопросы отошли на задний план перед лозунгами политического характера. И по мере того, как революционизировался пенсионный съезд, его общественное значение росло, он все больше приковывал к себе внимание миллионной массы железнодорожных труженников, все больше становился центром собраний их сил. Умеренные и робкие члены съезда, увидев, в какую подала они кашу, поспешили ступешаться. Вперед выдвинулись люди революционно настроенные, смелые, энергичные.

Министерство подумывало о том, чтобы распустить этот съезд; охранка готовилась расправиться с коноводами.

Но прежде, чем министерство и охранка сделали решительный шаг, в Москве распространились слухи, будто в Петербурге уже начались аресты железнодорожников, — и, в виде протеста, служащие и рабочие Московско-Казанской железной дороги прекратили работу.

Это было в пятницу, 7-го октября. Суббота прошла в митингах, сходках, совещаниях. Между прочим, в этот день в одном из петербургских высших учебных заведений, — кажется, на курсах Лесафта, — происходило собрание служащих петербургского железнодорожного узла. Решено было приступить к организации всероссийского железнодорожного союза, с тем, чтобы в последствии и предъявить правительству ультиматум и, в случае надобности, поддержать его всеобщей железнодорожной забастовкой. И любительная подробность: не только о забастовке, но и о предъявлении требований правительству здесь говорилось, как о чем то очень и очень далеком.

А уже на следующий день, в воскресенье, 9-го, делегатский съезд разослал по всем железнодорожным линиям телеграммы с формулировкой требований, которые должны быть предъявлены правительству: 8-часовой рабочий день, гражданские свободы, амнистия, Учредительное Собрание.

Впрочем, это не были лозунги забастовки и в это время даже не определил еще своего к ней отношения.

Забастовка развивалась так же, как она началась, — стихийно, без всякого руководства из центра, без всякого плана.

В понедельник, 10-го, с утра забастовал весь московский узел, и побежал по железнодорожным линиям во все концы России мощный волевой ток — бастовать!

В этот же день стали почти все фабрики и заводы Москвы, Харькова и Ревеля.

11-го октября забастовали Смоленск, Екатеринбург, Минск, Лодзь. Железнодорожная забастовка разливалась все шире и шире. В проведении ее железнодорожники совершенно неожиданно обнаружали огромную решимость и твердость. Снимали рельсы, ломали семафоры, опрокидывали локомотивы. Было несколько случаев, когда поезд с машинистами и поездной бригадой из штрейкбрехеров прорывался сквозь стачечную заставу, — за ним снаряджалась настоящая потопь, во все концы телеги телеграммы: Изловить, остановить! И, в конце концов, прорвавшийся поезд попадал в руки забастовщиков¹⁾.

С железных дорог забастовка, естественно, перекинулась на телеграф. Уже 11-го забастовали телеграфисты в Харькове, к ним поспешили примкнуть телеграфные служащие других городов.

Но Петербург, который должен был нанести последний, решительный удар самодержавию, все еще медлил, все еще обсуждал «про и contra».

Правда, накануне, 10-го октября, Петербургская Группа (меньшевистская) Р. С.-Д. Р. П. решила призвать петербургских рабочих присоединиться ко всеобщей забастовке и выбирать представителей в «Рабочий Комитет». Но агитационный аппарат группы был недостаточен, и рабочие массы не сразу узнали об ее решении. Да и решение было какое то неопределенное: оставался неясен характер забастовки, — была ли это демонстрация? или средство давления на правительство? или переходная ступень к более решительным формам

¹⁾ Троцкий в «Начале» дал яркое изображение такой «потопи» забастовки за прорвавшимся поездом.

борьбы? и на какой срок объявлялась забастовка? каковы были ее задачи? какую роль должен был играть в ней «Рабочий Комитет»?

11-го октября происходили переговоры делегатов железнодорожного съезда с правительством. Трудно сказать, могли ли в этот час Витте и Хилков найти слова, которые удовлетворили бы рабочих. Во всяком случае, они таких слов не нашли.

Хилков уверял делегатов, что политикой он не занимается и понятия не имеет о том, что делают в России охранка и жандармерия. Витте, повторяя запы зубатовской демагогии, пытался убедить рабочих, что у них с правительством общие интересы — против хозяев. «Мы погибнем, говорил он делегатам, но на смену нам придет буржуазия, — вам же будет хуже».

Из этих речей делегаты сделали двойной вывод: 1) что правительство боится всеобщей забастовки, и 2) что министры хотя и опутать словами и обмануть.

Поздним вечером собрание железнодорожников в Актовом Зале Университета вынесло резолюцию о присоединении петербургского уезда ко всеобщей забастовке.

12-го Петербург забастовал. Железнодорожники забастовали согласно решению, принятому накануне митингом. Фабрики и заводы примкнули ко всеобщей забастовке стихийно, без всякого предварительного решения.

Началось с отдаленных заводов Невского района. Оттуда забастовка распространилась вниз по течению Невы, перекинулась на другую берет, на Охту и на Выборгскую сторону. Толпы забасто-

явивших рабочих двигались от завода к заводу. Тревожно ревели гудки, били тревогу заводские колокола.

— Бросай работу! Забастовка!

И рабочие, будто ожидавшие этого призыва, поспешно складывали инструменты, выходили во двор. Кто нибудь поднимался на крыльцо конторы, на штабель дров, на бочку, или просто на уличную тумбу, но агитировать не приходилось. Речи были короткие, редко длиннее минуты.

— Товарищи! Вся Россия бастует... Неужто нам отставать от других?

И толпа выливалась из заводских ворот на улицу и катилась дальше к соседним заводам.

Полиции нигде не было видно. Заводская администрация не пыталась противиться движению. Инженеры и мастера лишь просили рабочих прибрать поаккуратнее инструменты, да повозиться о паровых котлах. Но рабочие и сами обнаруживали большую заботливость о заводском имуществе.

Мне запомнилась одна сценка. Утром, на явке, мы узнали, что начинается забастовка. Немедленно рассыпались по районам. Не стовариваясь, без директив центра, знали, что нужно делать.

Я поехал за Невскую заставу. Здесь ходил с толпою с завода на завод, снимая еще не забастовавших рабочих. Зашли во двор небольшого ящичного заводика. Двор длинный, узкий; мастерские расположены в верхних этажах. Чтобы вызвать вниз рабочих из мастерских, пришедший с нами заводской парника лег и принялся звонить в заводской колокол. Звонил он с таким усердием,

что вырвал из стены крюк, к которому была привязана веревка колокола, а затем оборвал и веревку. Это вызвало общее неудовольствие рабочих, и парня прогнали прочь:

— Что ты здесь шляешься? Чужое добро ломаешь.

А вырванный крюк вновь тщательно забил в стенку.

В этот день, 12-го октября, забастовка охватила Курск, Полтаву, Самару, Саратов.

Газеты продолжали выходить.

Они были полны известий об успехах движения. И реакционные органы, в наибольшей степени перепутанные событиями, делали, пожалуй, для пропаганды борьбы пролетариата еще больше, чем прогрессивные газеты.

В правых кругах начиналась паника. Петербургская Городская Дума приняла резолюцию о необходимости немедленно удовлетворить назрелые экономические и политические требования населения.

13-го октября забастовка сделала новые успехи, — забастовал петербургский телеграф, стали электрические станции, прекратили работу печатники. К забастовке примкнули служащие Петербургской Губернской Управы, банков, окружного суда. Забастовали некоторые гимназии и реальные училища. Вызнего резолюцию о присоединении к забастовке Центральное Бюро Союза Союзов.

Вечером Петербург погрузился во тьму. По неосвещенным улицам города двигались смутно гудящие толпы. Из уст в уста перебегали тревож-

ные вести. Все ждали чего то. У рабочих настроение было приподнятое, праздничное.

В этот день выступил на сцену Совет Рабочих Депутатов.

* * *

Казалось бы, что могло быть естественнее мысли о создании представительного, избранного рабочими органа для руководства забастовкой? Ведь и на более ранних ступенях рабочего движения при каждой значительной стачке образовывался для руководства ею стачечный комитет.

Но к созданию Петербургского Совета Рабочих Депутатов мысль рабочих и их руководителей пришла другим путем.

Когда 10-го октября меньшевистская Группа выносила решение призвать рабочих к избранию «Рабочего Комитета», она имела в виду создать нечто в роде тех «рабочих агитационных комитетов», идея которых была выдвинута еще весной 1905 года меньшевистской конференцией и с тех пор неустанно развивалась и популярировалась на столбах «Искры».

Эта идея входила, как необходимое звено, в план кампании, рассчитанной на то, чтобы в ходе выборов в Государственную Думу заложить основы и той рабочей партии.

«В случае осуществления созыва Государственной Думы, писала «Искра» 1-го июня 1905 г., начинается новый фазис русской революции, и социал-демократия должна быть готова встретить его во всеоружии... Необходимо теперь же, в связи с предстоящими выборами в Думу, развить самую

широкую агитацию и заложить основы широкой рабочей партии... Подготовительные, самовольно образующиеся рабочие агитационные комитеты должны быть организованы немедленно. В тесной связи с нашей нелегальной организацией они должны пустить в ход все наличные в рабочем классе силы для агитации за созыв Всероссийного Учредительного Собрания и для всестороннего использования всей избирательной кампании, какие бы классы и группы в ней ни участвовали... Эти агитационные комитеты должны стать центром тяготения широких рабочих масс и связать их с подпольной партией. Непарламентным выбором по земскому положению 1864 г.¹⁾ они должны противопоставить идею народных выборов — всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием. Они должны звать все слои населения — городского и сельского — немедленно приступить к осуществлению этой идеи и одновременно, как будут выбираться «законные» депутаты, выбирать своих собственных действительных представителей. Узловые и губернские собрания таких представителей революционного народа, с возможностью послышки ими своих депутатов на общероссийское собрание, могут создать мощную организацию для всего революционного движения, направленного на завоевание Всероссийного Учредительного Собрания. Они создадут как бы целую сеть представительных органов революционного

¹⁾ Земское положение 1864 г. было принято Буржуазным совещанием за основу проекта положения о Государственной Думе.

самоуправления с революционным всероссийским представительным собранием во главе» («Искра», № 101, «К современному положению»).

В № от 18 июля «Искра» выяснила отношение проектируемых ею органов революционного самоуправления к идее всеобщей забастовки: забастовка в момент созыва Думы мыслится, как одно из средств поддержки пролетариатом этих органов и как важный пролог восстания, «которое именно в организации революционного самоуправления должно найти достаточную опору для превращения в восстание всенародное» («Искра», № 106, «Оборона или наступление?»).

В дальнейшем «Искра» еще яснее подчеркнула, что «органы революционного самоуправления должны сыграть решающую роль в момент восстания, связывая силы пролетариата с силами других общественных классов».

«Организация революционного самоуправления, писала «Искра», — это и есть единственный способ действительной «организации» всенародного восстания. Кто отвергает этот путь, тот, в сущности, отвергает и самое всенародное восстание, подменяя его восстанием отдельных классов и групп, или, что еще хуже, группок и кружков» («Искра», № 108, «Наша тактика и Государственная Дума»).

Ясно, что смешать эти «органы революционного самоуправления» или предшествующие созданию их «рабочие агитационные комитеты» со «стачечными комитетами» не было никакой возможности.

Петербургская меньшевистская Группа и не была повинна в таком смещении понятий. Для нее

«забастовка» и «выборы депутатов в Рабочий Комитет» — были два параллельных, независимых друг от друга движения, которые лишь случайно были брошены одновременно в массы.

Согласно с этим, в меньшевистских кругах и позже продолжали смотреть на Петербургский Совет Рабочих Депутатов, как на «орган революционного самоуправления».

«Начало» писало по этому поводу:

«Организация революционного самоуправления — вот лозунг, который выдвинула тогда тому назад наша общерусская партийная конференция¹⁾. В то время нам говорили, что этот лозунг утопический, что пока самодержавие не сломлено окончательно победоносным восстанием, революционное самоуправление невозможно, особенно в крупных политических центрах. Сама жизнь разрешила спорный вопрос. Совет Рабочих Депутатов есть первый блестящий опыт революционного самоуправления пролетариата» («Начало», № 2, «Совет Рабочих Депутатов и Наша Партия» Мартынова).

Это понимание природы Совета Рабочих Депутатов с самого начала выдвигало вновь создаваемую организацию в центр споров между меньшевиками и большевиками. Ибо большевики относились к меньшевистской идее «революционных самоуправления», как к вредной утопии, и выдвигали в этом плане помеху вооруженному восстанию.

«Организация революционного самоуправления, писал выборка народом своих уполномоченных, писал «Пролетарий», есть не пролог, а эпизод

¹⁾ Речь идет о фракционной меньшевистской конференции.

восстания. Ставить себе целью осуществить эту организацию теперь, до восстания, значит ставить себе нелепую цель и вносить путаницу в сознание революционного пролетариата. Надо сначала победить в восстании (хотя бы в отдельном городе) и учредить временное революционное правительство, чтобы это последнее, как орган восстания, как признанный вождь революционного народа, могло приступить к организации революционного самоуправления» («Пролетарий», № 12, «Бойкот Буржуазной Думы и восстание»).

Это недоверие к «органам революционного самоуправления» большевики перенесли и на Совет Рабочих Депутатов, как на учреждение, первоначально задуманное меньшевиками в виде искровского «рабочего комитета».

Само собой разумеется, о таком недоверии не могло бы быть речи, если бы меньшевистская Группа в своем решении от 10-го октября просто сказала:

— Начинается всеобщая забастовка. Создадим же для руководства ею стачечный комитет, включающий депутатов от всех бастующих предприятий и профессиональных союзов!

* * *

13-го октября у Совета Рабочих Депутатов еще не было имени. В этот день в Технологическом Институте собралось человек 10—15 делегатов от заводов Невского района, избранных рабочими по предложению меньшевиков.

Здесь было окончательно решено организовать «Рабочий Комитет» на основе выборов одного делегата от каждых 500 ч. рабочих — норма, установленная при выборах в комиссию сенатора Шигловского.

Собрание выработало текст воззвания к петербургским рабочим:

«Всероссийская забастовка началась. Мы, делегаты разных петербургских фабрик и заводов, обсудив положение, признаем всех рабочих поддерживать великое дело борьбы за освобождение, за счастье народа и присоединяться к всеобщей забастовке».

Далее делегаты заявляли:

«Мы постановили объединить руководство движением в руках общего Рабочего Комитета».

По смыслу этого воззвания, как будто, речь шла о создании стачечного комитета. Но когда, на следующий день, рабочие делегаты собрались вновь¹⁾, предметом их суждения стали вопросы, не имевшие прямого отношения к стачке, но тесно связанные с ней — о порядке выборов революционного комитета. Начались разговоры о том, как бы лучше всего противопоставить образующийся Рабочий Комитет... ценовой Городской Думе.

После долгих и горячих споров собрание постановило отправить в Городскую Думу особую делегацию со следующими требованиями:

¹⁾ На этом собрании было представлено 40 заводов, 2 фабрики и 3 профессиональных союза.

«1) немедленно принять меры для регулирования продовольствия многотысячной рабочей массы;

«2) отвести помещения для собраний;

«3) прекратить всякое довольствие, отвод помещений, ассигнования на полицию, жандармерию и т. д.;

«4) указать, куда израсходованы 15.000 рублей, поступившие в Думу для рабочих Нарвского района».

Такова была «платформа», с которой решил выступить представительный орган петербургского пролетариата.

Но рабочие делегаты, прибывшие в Городскую Думу, не были выслушаны ею. Г. гласные, ничего не знаящие о только что зародившемся «Комитете», приняли делегатов без большого почтения и предложили им прийти через два дня на очередное думское заседание.

А между тем, в Рабочий Комитет час от часу вливались новые силы, он становился действительным центром объединения петербургских рабочих. 15-го октября на его заседание явилось уже 226 выборных депутатов от 96 заводов и фабрик.

Собравшиеся все еще не знали точно, что именно представляют они собой, — статечный комитет или «орган революционной самодисциплины»?

Как статечный комитет, они приняли следующее обращение к петербургскому пролетариату:

«Товарищи! Тех рабочих, которые не желают, несмотря на все наши убеждения и постановления,

прекратить работу, снимайте с работы. Кто не о нами, тот против нас, и к ним Комитет постановил применить крайнее средство, — силу».

Как «орган самоуправления», собрание вновь занялось вопросом об обращении к Городской Думе.

Требования, выработанные накануне, подверглись суровой критике. Решено было дополнить их двумя новыми пунктами. 5-ый пункт был формулирован так:

«Выдать из имеющихся в распоряжении Думы народных средств деньги, необходимые для вооружения борющегося за народную свободу петербургского пролетариата и студентов, перешедших на сторону пролетариата¹⁾. Руководство этой частью народной революционной армии должно находиться в руках самого пролетариата. Суммы должны быть переданы общему Рабочему Совету».

Наконец, последнее, 6-ое требование заключалось в том, чтобы из здания городского водопровода были удалены «ойска», введенные туда для предупреждения забастовки.

С этими требованиями рабочий депутатский восточно явился в Городскую Думу 16-го октября²⁾. На этот раз г. гласные приняли представителей пролетариата, со вниманием выслушали их речи и заботливо проводили их до улицы, предупреждая возможность ареста их толпившейся около Думы и в думском здании полицией.

¹⁾ Последнее слова — отголосок слухов об «академическом легнине», который в это самое время формировался в Университете под командой Никольского.

²⁾ Вместе с нем явился депутат Союза Союзов, поддерживавшая требования рабочих.

В конечном счете, вся эта ватга с хождением в Думу ни к чему не привела и оставила у рабочих неприятный осадок.

Впрочем, в нагелевшем вихре событий, об этой истории скоро забыли.

Рабочий Комитет в первые дни как бы напугивал почву, искал себя, искал те формы, в которые должна была вылиться его работа.

На пятый день своего существования, 17-го октября, он почувствовал, что задача его — перековывать в единую волю смутные и порою противоречивые порывы различных пролетарских групп и быть выразителем этой единой воли.

В этот день представительный орган петербургских рабочих получил то имя, под которым он вошел в историю, имя Совета Рабочих Депутатов¹⁾.

В это время всеобщая забастовка, до сих пор непрерывно нараставшая, достигла кульминационного пункта, подошла к критической точке.

* * *

В предыдущей главе я говорил уже о тех военных приготовлениях, к которым с 13-го октября приступило правительство, говорил и о знаменитом Треповском приказе — «патронов не жалеть и холостых залпов не давать».

Рабочие не были напуганы ни этими приготовленияами, ни угрозами. Верили, почему то, что

¹⁾ Кажется, это название было заимствовано из практики московского движения в сентябре.

солдаты стрелять не станут. Приказ градоначальника вызвал иронические комментарии:

— Мы и то голову себе ломали, — почему это он до сих пор не стреляет? Думали, нас жалеет... А выходит, это он патронов жалел, — жаль то человеческая для него трех копеек не стоит.

Повидимому, в правительственных кругах в эти дни тоже преобладало убеждение, что войска не будут стрелять в народ.

Трудно сказать с уверенностью, насколько правильно было это предположение о настроении солдат. Легкость, с какой полтора месяца спустя была раздвинута попытка восстания в Москве, невольно вызывает сомнения в революционности солдатской массы в октябрьские дни. Эта масса, несомненно, был охвачена смутным брожением, привычная дисциплина в ее среде была поколеблена, — но в какой степени? настолько ли, чтобы при роковом приказе «шли» штыки в ее руках могли обратиться против командиров?...

Во всяком случае, в буржуазных и интеллигентских кругах в те дни преобладало противоположное мнение: считали, что приказ о стрельбе может быть отдан с часу на час и что он будет исполнен войсками. Но здесь — быть может, так же, как в правительственных кругах, — царило преувеличенное мнение о силах революционеров, о степени их подготовки к восстанию. Поэтому, вооруженное столкновение казалось здесь неизбежным, но исход его представлялся сомнительным, неизвестным.

Нужно отметить, что в первые дни забастовки буржуазно-интеллигентские круги не только со-

чувствовали рабочим, но и выражали готовность встать на их сторону в предстоявшем вооруженном столкновении с правительством, то есть в предстоящем восстании.

Эти настроения не ограничивались рамками Союза Союзов, который не имел собственной политической физиономии и в октябрьские дни попал под влияние социалистических партий. На сторону рабочих готовы были встать и определенно буржуазные группировки, имевшие свою программу, свою тактику, свое мировоззрение, резко отличные от программ, тактики и мировоззрений социалистов, — группировки, еще недавно яростно боровшиеся с социалистами в вопросе о Бутыгинской Думе.

В этом смысле характерно постановление, принятое 14-го октября заседавшим в Москве учредительным съездом конституционно-демократической партии:

«В настоящее время во всей России происходит беспрецедентное по размерам и по характеру движение организованных рабочих масс¹⁾. Движение это неразрывно связано со всем предшествовавшим ходом борьбы за свободу, и для сторонников прав народа не может быть сомнений в том, как следует отнестись к совершающимся событиям.

«...Требования забастовщиков, как они формулированы ими самими, сводятся, главным образом, к немедленному введению основных свобод,

¹⁾ Это определение движения не точно. Массы, участвовавшие в забастовке, не были организованы. Это было движение, возникшее и протекавшее стихийно и лишь извне, издали, казавшееся организованным.

свободному избранию народных представителей в Учредительное Собрание на основании всеобщего, равного, прямого и тайного голосования и общей политической амнистии¹⁾. Не может быть ни малейшего сомнения, что все эти цели — общие у них с требованиями конституционно-демократической партии. В виду такого согласия в целях, учредительный съезд конституционно-демократической партии считает долгом заявить свою полную солидарность с забастовочным движением...»

«От правительства зависит открыть широкий путь этому торжественному шествию народа к свободе — или превратить его в кровавую бойню... Конституционно-демократическая партия представляет себе, смотря по ходу событий, принять все меры, которые будут в ее средствах и в ее власти, чтобы предупредить возможное столкновение, но, удастся ли ей это или нет, она наперед отождествляет себя с народными требованиями и кладет на весь народное освобождение все свое сознание, всю свою нравственную силу и окажет ему всяческую поддержку».

Язык этого заявления, само собой разумеется, не тот, каким говорили революционные партии и камы, несколько дней спустя, должен был заговорить Совет Рабочих Депутатов. Но политический

¹⁾ В действительности, это были ловушки всего народного движения 1905 г. Но октябрьская забастовка, как таковая, в то время еще не формулировала ни этих, ни других политических требований.

смысл приведенного документа совершенно ясен: это — признание гегемонии рабочего класса в революции и солидаризации с ним в его борьбе — вплоть до высших форм ее.

Так широк был в те дни фронт революции! И нужно ли повторять, что в этом всеобщем сознании и непростых адептов был один из источников чудесной силы октябрьской забастовки!

Чувствуя себя изолированным, покинутым всеми, правительство потеряло веру в себя, в свои силы. Отсюда его нерешительность, которая все шире открывала шлюзы революционному потоку.

16-го октября Петербург представлял жуткую картину.

Было воскресенье. Улицы полны народом. В толпе много рабочих-забастовщиков из окранных районов.

Высшие учебные заведения оцеплены войсками. Повсюду пешие и конные патрули. На некоторых улицах солдаты выстроены шпалерами вдоль тротуаров. Другие улицы перерезаны поперек сильными караулами. Движение через Дворцовый мост прекращено...

Утром, часов в 10, я пришел в Университет. У входа взвод солдат-гвардейцев. Я вызвал офицера, командовавшего караулом, назвал, показал свое удостоверение, как старосты Университета, и потребовал, чтоб меня пропустили в канцелярию. По приказу офицера, солдаты расступились. В канцелярии я застал Виггенкина и еще человек пять старост. Толковали о последних событиях. Меня больше всего волновал вопрос, как собрать нашу

ораторскую коллегия, как связаться с партийными товарищами. На наших глазах, прямо перед нами университетской канцелярии, уланский разъезд наехал на пробиравшегося в Университет студента. Рубили его шапками. Раненый студент, спасаясь от солдат, пытался перелезть через железную ограду палисадника, но упал на камни, обливаясь кровью. Двое из нас вскочили на улицу, стали кричать на солдат. Разъезд ускорил, студента унесли в соседнюю клинику (раны его оказались не тяжелыми).

Приходили еще люди, — караул пропускал тех, кто говорил, что идет в канцелярию по личному делу. Вести из города были тревожные.

Наконец, мне сообщили, что агитаторская колония собирается в Вольно-Экономическом Обществе. Я поспешил туда.

Ни конки, ни извозчиков¹⁾. Пришлось идти через весь город пешком. Повсюду возбужденная толпа, повсюду солдаты. Вокруг Технологического Института, на Загородном и на Забалканском положение казалось особенно напряженным.

Толпившиеся здесь рабочие узнали меня. Сгущались теснее. Глаза блестят решимостью.

— Что же, товарищ? Начинать пора! Барикаду, что-ли, строить будем?

По близости мостовая была закрыта для ремонта, около тротуаров кучами лежал булыжник. Десетки рук тянулись к камням.

— Начнем, что ли? Распоряжайтесь, товарищи!

¹⁾ Извозчики не бастовали, но боялись выезжать на биржу, так как среди них ходил слух, что забастовщики решили резать гужи у повывозящихся на улице пролеток.

Опасаясь вызвать столкновение безоружной толпы с войсками и ненужное кровопролитие, я негромко, но настойчиво уговаривал близ стоявших:

— Не спешите, товарищи... Партия укажет, когда придет время решительной схватки... Оставьте камни... Не поддавайтесь на провокацию.

Так добравшись до Вольно-Экономического Общества. Здесь, в помещении библиотеки, было уже человек 15 из нашей коллегии.

Сидели на подоконниках, на столе, на сложенных на полу связках книг и газет.

Когда я вошел, ко мне подбежал агитатор-большевик Михаил, парень без малого трех аршин роста. Он был вне себя.

— Ну, что там? — кричал — он: Вы видели? Лицо у Михаила было бледное, голос истерически срывался.

— О чем вы спрашиваете? — с раздражением переспросил я его: — Говорите по человечески.

— Там, на улице, — указал Михаил на окно: Что там? Вы видели?..

— Ничего там нет. Народу, правда, много... Войска, полиция... А больше ничего.

Коновалов, сидевший на подоконнике, подошел ко мне и дружески ударил меня по плечу:

— Так, товарищ Петров! Вашу руку! Не бейте мы, в самом деле, чтоб истерики здесь вакалывали!

Женщина, полужелезавшая на столе, подняла голову.

— Уже пролилась кровь, — заголосила она, заливаясь слезами: — К вечеру будут горы трупов. А кто

виноват? Кто убийца? Кто вызвал этих людей на улицу? Мы, мы, мы!

— Мы убийцы! — взвыгнула Михаил.

— Боже мой! Боже мой! — послышалось из другого угла.

Я почувствовал, что бледнею от злости, и громко сказал:

— Я извиняюсь, господа... Я думаю, что здесь коллеги партийных ораторов, а здесь, оказывается, сумасшедший дом. Видно, я не туда попал.

Я повернулся к двери. Но Михаил схватил меня за рукав:

— Пойдите, товарищ Сергей! Хорошо, будем хладнокровны. Будем рассуждать... Хорошо! Но как же быть с Университетом? Ведь там вооруженное выступление на сегодня назначено!..

— Как? Какое выступление? — послышалось со всех сторон.

— Кто назначил?

— Да товарищ Петров назначил, — обронил Михаил: — Я его и спрашиваю, как теперь быть...

— Это верно? Вы назначили выступление? По какому праву?

Я растерялся и молчал. Меня выручил вошедший в комнату товарищ, — помнится, это был Евгений (Литкенс).

— Ничего товарищ Петров не назначал, — заявил он: А вчера при окончании митинга в Университете все говорили, чтобы сегодня собираться вновь с оружием в руках. И Петров говорил, и я, и Абрам, и Леонид, — все одинаково говорили.

h3-229
out - 6/11
19/11/1918

— Мы убили! — опять завопил Михаил, закрывая лицо обеими руками.

— Мы убили! — прокатилось по комнате. Справившись со своим волнением, я сказал:

— Вот что, товарищи. Заседание у нас, видно, не состоится. Я ухожу. Буду около Университета. Приложу все усилия, чтобы предупредить столкновения и жертвы. А если кровь прольется, никто не скажет, что мы вели людей на смерть, а сами прятались от опасности.

В подкрепление своих слов я вынул из кармана браунинг, полученный накануне от Комитета, и взвел предохранитель, — жест и ненужный, но со-ответствовавший настроению минуты.

Михаил кричал что то неразумительное о самоубийстве. Николай и Евгений заявили, что идут со мной к Университету, и мы вместе вышли из библиотеки Вольно-Экономического Общества.

Шли, избегая людных улиц, почти бежали. На Фонтанке нашли извозчика, который, после долгих уговоров, согласился подвести нас до Николаевского моста.

На Университетской набережной было много рабочих. Но не было сплошной толпы, а взад и вперед двигались небольшие кучки. Двигались исключительно по тротуарам, в то время как по мостовой гарцовали казаки. Тут же суетились чины полиции, настойчиво предлагая «губинке» не останавливаться, проходить мимо.

Кучка рабочих-семинниковцев остановила нас: — Что так поздно, товарищи? Народ обижается, что долго ждать заставляють.

— Сегодня не будет ничего, — об'явили мы решительно и твердо.

— Как так?

— Отменено!

— Почему?

— Да потому, что не готовы. У вас оружие есть?

— А то как же!

— Покажите.

Из карманов появились на свет Божий пара финских ножей, кастет, короткий револьвер-бульдог.

— Всего то? Этого мало! — отрезал Николай.

— Что же делать теперь? — смущенно спрашивали рабочие, пряча свое убогое оружие.

— Слупайте домой!

— Да тут много наших семинниковцев... ждут начала...

— Всех с собой уведите!

И мы пошли дальше.

Так до позднего вечера ходили мы по набережной — от Филологического Института до Академии Наук и обратно — уговаривая рабочих, спора с более упрямыми, успокаивая более нервных. И с огромным чувством облегчения следил я за тем, как постепенно таяла, уменьшалась толпа перед Университетом...

В этот день всеобщая забастовка сделала новые успехи.

Оказались тщетны все усилия администрации пустить в ход электрические станции и газовые заводы, и вечером город вновь погрузился в полную тьму.

Зажженные на перекрестках улиц и на площадях костры не только не давали света, но своим красным отблеском лишь подчеркивали царящий кругом мрак.

Военное начальство придумало, как помочь делу: на башне Адмиралтейства установили мощный рефлектор и пустили луч над Невским. Как хвост кометы, протянулась полоса света над городом, вызывая насмешливые замечания со стороны рабочих и сев панику среди обывателей.

* * *

Поздним вечером мне передали из Петербургского Комитета поручение: отправиться на другой день за Нарвскую заставу, снять с работ один завод, рабочие которого в субботу отказались примкнуть к забастовке. Поручение было не из приятных: район темный и мне незнакомый, явка ненадежная — двое рабочих — Федор и Вася — должны были встретить меня на улице.

Утром, положив в наружный карман палитро свой браунинг, я отправился в район. В назначенном месте никто меня не встретил. На улице былолюдно, рабочие стояли кучками, мирно беседовали. Степенно прохаживались городовики. Проехал мимо казачий раз'езд. Для конспирации я купил у стоявшей тут же старухи на копейку подсолнухов, сел на тумбу и принялся лущить семечки, слюгивая шелуху. Так просидел минут десять, не привлекая ничьего внимания. Подумывая уже вернуться в город, когда ко мне подошел незнакомый парень.

Остановившись рядом с моей тумбой, он спросил неуверенно, глядя в сторону:

— Вы, товарищ, городской?

— Да. А вы — Федор?

— Нет, я Вася. А вы, товарищ, лучше всего, уезжайте. Ничего у нас не выйдет сегодня. В завод никак не пройди, — полиция там.

— Много?

— Не то, чтобы много... А только ребята связываться не хотят.

— Где ваши ребята?

— Да все тут, кругом наши... Только дух сегодня уж не тот, что был вчерась, когда мы в комитет посылали...

Я соображал, что делать. Собрать толпу, начать агитационную речь? Опасно, — как бы не вышло «провокации». Вернуться по добру, по злому в город? Конфузно.

— Вот что, Вася! — решил я, наконец: — Собирайте на мне человек десять и надежнее, и идем в завод.

Вася побежал обивать команду, а я остался на тумбе лущить семечки. Затем пошел к заводу.

Завод был расположен за широкой канавой. К закрытым воротам вел деревянный мост, на нем толпились какие-то люди, с виду, как будто, рабочие. У калитки стояли два сторожа и городовой, — все трое самого миролюбивого вида. Сопровивления с этой стороны можно было не бояться. Но люди на мосту встретили нас криками, угрозами, бранью. Мои спутники не то дали тлгу, не то потерялись во враждебной толпе, исчез куда то и Вася. Я остался один перед за-

пертыми воротами. Городовой пригнулся ко мне вплотную и спросил:

— Ты откуда?

— Из Совета Рабочих Депутатов! — ответил я.

— А ну ка, пойдём в участок!

— В участок? А знаешь ты, что такое Совет Рабочих Депутатов?

— Откуда мне знать? Ты это «частному» расскажешь, а мне оно ни к чему...

Дело принимало неприятный оборот. Место для пререканий с городовым было не подходящее. Я сказал:

— Хорошо, иди!

До участка было довольно далеко. Мы шли по улице, где сочувствие прохожих было явно на моей стороне. Стоило мне остановиться, обратиться к толпе, и моему «фараону» пришлось бы плохо.

Городовой, видимо, начал робеть. Задерживая шаг, он спросил меня:

— Что ты «частному» скажешь?

— А то и скажу, что приехал на завод, об'явить приказ Совета Рабочих Депутатов, чтобы всем бастовать. А ты меня не пустил, да еще арестовал.

— Да не арестовывал я тебя, — заскулил городовой, — а только сказал, что делов ваших не знаю...

— Ага, теперь не знаешь! — строго перебил я его: — Идём ка в участок.

Прошли еще шагов двадцать, и уже неизвестно было, кто кого ведёт к «частному».

Наконец, городовой замолчал:

— Да отпусти ты меня! Что я тебе сделал? Не знай я, что ты от Совета...

— Ну, так и быть, ступай! — милостиво согласился я.

Городовой радостно побежал к своему посту, а я, не менее его довольный развязкой приключения, поспешил в город.

День 17-го октября был критическим в ходе забастовки. В настроении толпы явно наметился перелом. У всех на устах был один вопрос:

— Что дальше?

С начала забастовки в Москве (на Московско-Казанской железной дороге) шел одинаковый день. Шестой день бастовал Петербург. А результатов не было видно.

Забастовали, скрестили руки на груди, остановили всю жизнь... А дальше что?

Всюду штыки. Бегут на улицах приказы Трепова. Правительство удержало за собой все позиции.

Признать забастовку проигранной и вернуться к станкам? Или сделать еще одну последнюю попытку? Такая попытка возможна лишь в виде схватки с правительственными войсками... Но как двинуться с голыми руками против частоклада штыков? А если не решительный бой, то чего ждать от затравливания без конца забастовки? Дилемма — идти вперед или отступать? перейти к вооруженной борьбе или признать поражение? — эта жуткая дилемма вырисовывалась все отчетливее перед каждым, кто ворко следил за ходом событий и пытался разобратся в их смысле. Но в рабочих массах не была сломлена энергия сопротивления. Совет Рабочих Депутатов сделал попытку собраться. Так как Технологический Институт,

место первых собраний Совета, был окружен войсками, попытались устроить заседание в Вольно-Экономическом Обществе¹⁾. Но позиция разогнала собрание. Вечером удалось собраться на Песках, на Рождественских Курсах. Депутатов явилось мало, меньше 100 человек. После обмена мнений вынесли резолюцию:

«Принимая во внимание, 1) что настоящая забастовка имеет не местный, а всероссийский характер; 2) что борьба пролетариата всей России с самодержавием в настоящий момент обострилась до того, что настоящая всеобщая забастовка может нанести решительный удар падающему самодержавию; 3) что во многих городах волна пролетарского движения растет, а прекращение забастовки в Петербурге, в виду важности последнего, может затормозить всероссийское движение, — Петербургский Рабочий Совет постановил продолжать забастовку. Какой контраст с уверенными, боевыми резолюциями предыдущих дней!

Так командир уговаривает солдат, готовых покинуть позицию: на соседних боевых участках дела идут не так плохо, как у нас; там, быть может, врагу будет нанесено поражение; если мы дрогнем, мы потеряем все дело, — потеряли же еще хоть немного!

На этом собрании Совета я не присутствовал, так как в это самое время происходило заседание нашей ораторской коллегии совместно с представителями Петербургского и Центрального Комитетов²⁾.

¹⁾ Возможно, что это место для заседания мы брали потому, что сюда ближе всего от Технологического Института.

Собравшись мы в Консерватории, — единственном учебном заведении, которое до этих пор не подвергалось революционному «использованию», и потому не было, в ночь с 15-го на 16-ое, занято войсками.

Заседание происходило в обширной, светлой комнате. Присутствовало человек 25. Настроение у всех было крайне подавленное. В ожидании представителей Центрального Комитета сидели, перекидываясь редкими фразами, — все усталые, измученные, бледные¹⁾.

Наконец, появился представитель Ц. К., человек средних лет, маленького роста, с острой бородкой, с характерным типом еврей-интеллигента, в аккуртаченном черном костюме²⁾.

Встретили его утрюмо и холодно. Не смущаясь этим приемом, представитель Ц. К. начал с почти министерской важностью:

— Я здесь, товарищи, чтобы ознакомить вас с последним решением Центрального Комитета, а также, чтобы представить вам разъяснения по всем волнующим вас интересовать вопросам, касающимся нашей политики. Спрашивайте, я готов отвечать.

¹⁾ Обычно на заседаниях Совета наша ораторская коллегия — так же, как ораторские коллегии меньшевиков и эсеров — присутствовала в полном составе. Мы все считались постоянными гостями Совета. На выборах мы говорили от имени партии, но иногда при проведении принятых Советом решений, выступали, как ораторы Совета Рабочих Депутатов.

²⁾ Насколько я помню, это был Б. Горев (Гольдман), работавший тогда в партии под псевдонимом Игоря. Но в воспоминаниях В. Горева об этом периоде, помещенных в № 1 «Историко-революционного бюллетеня» (Москва, январь, 1922), ни словом не упоминается описываемая ниже сцена. Забыл ли о ней Б. Горев, или не он вел вечером 17-го октября переговоры с нашей коллегией?

¹¹ Войтинский.

Один из членов коллегии сказал на это:

— Нас всех волнует один вопрос. В течение месяца мы, согласно вашему директивам, призывали массы к вооруженному восстанию. Теперь время восстания пришло. Массы на улицах и требуют оружия. На какие запасы оружия можем мы рассчитывать?

Представитель Центрального Комитета развел руками:

— Мы сделали все, что могли, но оружия у нас нет!

— Как так?

— Все бывшие у нас револьверы мы уже передали вам.

— Это тридцать штук браунингов, розданные агитаторам?

— Ну, да! Больше у нас нет.

— Вы смеетесь над нами?

— Ничего. Транспорт, которого мы ждали, задержан на границе... Может быть, удастся доставить немного гремучей ртути для ударников для бомб... Это все!

— Почему же вы раньше не сказали нам об этом? Как могли вы заставлять нас призывать рабочих к вооруженному восстанию, когда вы прекрасно знали, что оружия у вас нет?

— Мы наделись...

— Но может быть, удастся получить оружие через солдат?

— Едва ли. В частях, с которыми у нас имеются связи, оружие отобрано.

— В таком случае, попытаемся взять оружие в магазинах!

162

— Это невозможно: из всех магазинов нарезное оружие вывезено в Петропавловскую крепость. Оставлены лишь охотничьи дробовики. Не нужно обманывать себя: оружия у нас нет и не будет.

Вспарилась тяжелое молчание. Один из нас выразил мысли всего собрания:

— Вы сыграли роль провокаторов по отношению к нам и заставили нас играть роль провокаторов по отношению к рабочей массе.

Центр спокойно ответил:

— Товарищи, я понимаю вас. Бывают моменты, когда все мы до последней степени недовольны сами собой, и друг другом, и руководящими центрами. Бывают дни, когда только безнадельный дурак может быть доволен собой. Но не следует впадать в отчаяние. Нужно продолжать работу, в дни этого необходимо позаботиться о сохранении партийного аппарата.

Выдержав паузу, он спросил нас:

— Угодно будет вам выступить постановление Центрального Комитета?

— Ну, говорите!

— Центральный Комитет сознает, что стачка проиграна. Имеются все основания ожидать, что не позже, как завтра, в Петербурге начнутся массовые аресты. По всей вероятности, в первую очередь будут арестованы те лица, которые были особенно на виду за последний период, то есть, товарищи, вышедшие на своих плечах митинговую кампанию. Поэтому, Центральный Комитет решил призвать перегруппировку работников, и, в частности, всех товарищей, выступавших последнее время в Петербурге на митингах, перебросить в провинцию. Вам

11 *

163

предлагается: поменять паспорт, изменить по возможности наружность и более не показываться на собраниях.

Хор неподвижных голосов прервал представителя Центрального Комитета:

— Это подлость! — кричал Абрам.

— По вашей милости мы уже стали провокаторами, — возновался другой член коллегии: — А теперь вы хотите, чтобы мы стали дезертирами.

— Передайте Ц. К. наш ответ, — сказал я: — Ваше предложение мы считаем верхом цинизма. Будь что будет, а мы останемся все на своих постах.

Представитель Комитета, не ожидавший ничего подобного, был крайне смущен.

— Хорошо, хорошо, — твердил он: — Я передам, мы не настаиваем, это был с нашей стороны простой совет...

Была уже ночь, когда мы расходились. Царига тьма на площади перед Консерваторией и на улицах. Ни души, ни звука... Жутью смерти веяло в воздухе.

Расставаясь, мы крепко жали руки друг другу. Никто не знал, что ждет его завтра. Было так тяжело сознание собственного бессилия и поразения. Казалось, кроме личной гибели, нет другого выхода.

... Это было в ночь с 17-го на 18-ое октября, когда самодержавие уже капитулировало перед всеобщей забастовкой, когда уже был подписан манифест!

* * *

Утром 18-го, еще ничего не зная о манифесте, я отправился в Университет, — там, в студенческой столовой, была наша явка.

На улицах непривычное для утреннего часа оживление. Кое-где дома распечены флагами. Бегут мальчишки-газетчики. Кучки обывателей жмутся к расклеенным на стенах белым листам. Промыкают извозчики пролетки.

Чтоб избежать неприятных встреч, я взял извозчика, велел ему подняться вверх и дал адрес:

— Университетская линия.

Когда мы проехали квартала два, я спросил моего «Ваньку»:

— Что это народу сегодня так много?

— Манифест читают. Насчет свободы.

Так я узнал об одержанной нами победе!

Подовывая газетчика, взял у него большой лист с разношерстными строками манифеста и погрузился в чтение.

Полно первое впечатление: обман, ловушка!

Такое же впечатление было в этот день, при овнакомлении с манифестом, у всех, кто стоял близко к забастовке. Все мы с полной отчетливостью ощущали, что если мы хоть на миг удовлетворимся манифестом, это поведет к разгрому движения, к черносотенной реакции. Наоборот, у тех, кто держался в стороне от движения, было прямо противоположное ощущение: им представлялось, что манифест заменит великую победу народа и дает новую базу политический жизни России, и что всякая попытка идти дальше назад, возвещенных манифестом, будет иметь роковые последствия.

Это различие в оценке положения нельзя объяснить и с к л ю ч и т е л ь н о - т е м , что манифест делал уступки буржуазным кругам и ничего не давал рабочим. Ибо, если бы все обещания манифеста превратились в действительность, плодами этой победы воспользовался бы, вместе с другими классами, также и протетариат. А с другой стороны, в случае неисполнения этих обещаний самодержавием, требования либеральных кругов остались бы неудовлетворенными так же, как и требования рабочих.

Основа расхождения была двойственная: различие было не только в оценке о б ъ е м а полученных уступок, но и в оценке р е а л ь н о с т и данных царем обещаний. Революционеры этим обещаниям не верили, либеральные круги верили, или делали вид, будто верят.

Было бы слишком легко доказывать теперь, что в этот исторический момент революционеры обнаружили больше проницательности, нежели умелые общественные элементы, встретившие манифест шумными ликованиями. Но я хотел бы отметить здесь психологический источник этой проницательности: после пережитого накануне, мы непосредственно ощущали с л а б о с т ь революционного движения; мы чувствовали н е о б х о д и м о с т ь идти вперед, так как знали, что сил наших недостаточно, чтобы удерживать позиции, которые враг покинул под влиянием минутной паники...

В университетской столовой я застал летучий студенческий митинг. Пр. Вл. Гессен читал на площадке лестницы манифест и объяснял, что от-

ныне Россия вступает в семью свободных, конституционных государств. Студенты аплодировали. Я взял слово и начал говорить о том, что нельзя верить царскому правительству.

Кто то крикнул:

— На Казанскую площадь!

Выскапали на улицу. Снимали с домов трехцветные флаги, срывали с них белые и синие полотнища. Импровизированные таким образом «красные знамена» развевались над возмущавшейся с каждым шагом толпой.

Перешли через Дворцовый мост, с криками «долой» прошли мимо золоченой ограды Зимнего Дворца. При выходе на Невский повстречались с другой манифестацией, шедшей с национальными флагами. Трехцветные флаги посторонились, пропустили нас. Даже кричали нам «ура» и махали шапками.

На Казанской площади устроили митинг. Ораторы говорили с паперти, под колоннами, под нависшим на плечи толпы. Первым говорил какой то офицер с георгиевскими крестами. Он махал руками, бил себя в грудь, но слов не было слышно, — точнее, слышно было лишь одно слово «Порт-Артур», — но что именно говорил он о Порт-Артуре, осталось неизвестно. После него говорил я.

Тепла заливала всю площадь вплоть до Невского. По проспекту проезжали конки и извозчики пролетки. Шум стоял такой, что я не слышал собственного голоса, хотя кричал изо всех сил.

Во время речи я успел заметить, что состав толпы был случайный, смешанный, что не было в ней единого прочного настроения. Здесь и там

пестрели флаги, — частью красные, частью трех-цветные. Казалось, случайно сошлось на одной площади несколько десятков чуждых одна другой групп.

Реза три начиналась паника. В различных концах площади раздавалась тревожный крик:

— Казаки!

И часть толпы бросалась бежать. У меня сложились отчетливое впечатление, что все развалились одни и те же люди, растащенные цепями по площади. Но и независимо от их усилий, толпа была склонна к панике: обыватель, хотя и радовался манифесту, хоть и готов был верить царскому слову, все же ожидал, что вслед за возвещением свободы должна произойти какая то катастрофа, — или расстрел толпы, или еврейский погром, или что-нибудь другое в этом роде...

С Казанской площади пошли к Университету. По дороге срывали тревожный приказ о патронах. На Дворцовой площади показались казачий развед, всего человек пять-шесть. Остановив лошадей, казаки сняли ружья и взяли на изготовку. Не зная, было ли это озорство, пустая угроза, или они, в самом деле, собирались стрелять. Студент, несящий красный флаг, подбежал вплотную к разведку и принялся что то объяснять казакам, — вероятно, говорил им, что теперь демонстрации разрешены царем. Казаки опустили ружья и, поверотив лошадей, уехали в сторону Зимнего Дворца. Вслед им раздались крики «ура».

На набережной качали трех офицеров, из которых один отбивался с яростной энергией, — пови-

димому, оказываемая честь не доставляла ему ни малейшего удовольствия.

Новый митинг на Университетской линии. Ораторы говорили с балкона Университета. Разобрали манифест, показывали, что нельзя верить его обещаниям. Один из ораторов, в заключение речи, разорвал манифест и пустил клочки его по ветру.

В это время толпа, в которой преобладали рабочие, уже влилась в здание Университета и наполнила Актный Зал. Там тоже открылся митинг. Вынесли резолюцию со следующими требованиями:

- 1) Полная политическая амнистия,
- 2) Отмена смертной казни,
- 3) Создание народной милиции,
- 4) Отставка Трепова,
- 5) Вывод войск из Петербурга.

День 18-го октября был одним из наиболее сумбурных дней 1905 года.

С утра до позднего вечера — митинги, речи, демонстрации, красные флаги, революционные призывы. Но не создавалось твердости настроения в уличной толпе.

Длинно, как будто, оправдывала черные ожидания обывателя. Утром конные разведы напали на прохожих около Технологического Института. Здесь был ранен в голову пр. Е. Тарле. Дем преобразенцы открыли огонь по толпе, мирно двигавшейся по Гороховой улице. Вечером, без всякого повода, войска стреляли по рабочим Путиловского завода.

Самым захватывающим было в этот день тре-

24.6.49
1917

бование амнистии. Много раз раздавался в толпе крик:

— К тюрьмам! Идем освобождать политических!

Многолюдная толпа подошла к помещению Рождественских Курсов, где заседал Совет Рабочих Депутатов, и потребовала, чтобы Совет принял на себя руководство манифестацией, имеющей целью освобождение заключенных.

Руководители Совета были против этой затеи, опасаясь, что дело кончится беспорядным кровопролитием. Но из толпы неслись крики: «К тюрьмам! Освободим товарищей!» Тогда представители Совета (одним из них был Троцкий) встали во главе толпы и повели ее, — но не к тюрьмам, а в кварталы, где можно было манифестировать сравнительно безопасно. Проходя мимо казарм, останавливались, звали солдат выйти на улицу, присоединиться к демонстрации. Только под вечер двинулись к превалянке. Но у участников манифестации не было решимости для последнего приступа, — и, по приглашению руководителей, толпа разошлась, не дойдя до тюрьмы¹⁾.

Позже в революционных кругах Петербурга было много споров по поводу этой неудачной манифестации. Большевики уверяли, что правительство и тюремная администрация готовы были уже 18-го освободить политических и сделали бы это, если бы толпа проявила больше смелости, если бы, например, была сделана попытка взломать тюремные

ворота. Наоборот, меньшевики утверждали, что подобная попытка была бы провокацией, что в тюрьмах были спрячаны воинские части, готовые открыть огонь по демонстрантам.

Вечером Совет Рабочих Депутатов обсуждал вопрос о дальнейшей тактике, — продолжать или прекратить забастовку?

Заседание происходило в одной из аудиторий Рождественских Курсов. В длинной, уставленной партами комнате было душно, накурено, лица тонугли в тумане. Присутствовало 248 депутатов от 111 фабрик и заводов. Настроение у всех было твердое, боевое, — не было и следов колебаний и сомнений, царивших накануне. И это настроение представителей фабрик и заводов составляло разительный контраст с нервным, паническим настроением городских обывателей. Доклады из мест, из районов, переплавали впечатление, пропавшее на рабоче массе манифестом: обещаниям паря рабочие не верят, возмущенным преобразованием не придают значения, но все доволны:

— Перетрусят, выдать, Николая!

Общее мнение — надо продолжать забастовку. После докладов Совет единогласно принял резолюцию, в которой говорилось:

... Борющийся революционный пролетариат не может сложить оружие до тех пор, пока политическое право русского народа не будет установленна на твердых основаниях, пока не будет установлена демократическая республика, наилучший путь для дальнейшей борьбы пролетариата за социализм.

84

Затем искались ближайшие требования забастовщиков:

Прежде всего, «полное устранение тех сил, с помощью которых самодержавное правительство угнетало и давило народ, именно: всей полиции, сверху до низу; удаление из города войск; сознание народной милиции, для чего мы требуем выдачи оружия пролетариату».

Далее, — амнистия, отмена военного положения и созыв Учредительного Собрания.

Это была первая официальная формулировка требований забастовщиков в Петербурге. Будь она выдвинута на неделю раньше, — не в конце, а в начале забастовки, — быть может, эта программа оттолкнула бы те непролетарские элементы, поддержка которых придавала движению общенародный, внепартийный характер. Но стихийное народное движение никогда не спешит со словесной формулировкой своих целей, — чаще всего, оно представляет это дело историкам. И в этом его сила.

Характерна была заключительная фраза резолюции: «забастовка будет продолжаться и впредь до того момента, когда условия указут на необходимость изменения тактики».

Изменение тактики мыслилось в двух формах: или возобновление работ, или восстановление. Возобновление работ, если требования будут удовлетворены; восстановление, если самодержавие не пойдет на уступки.

Как тактическое решение, подобная резолюция представляла верх тактической, — и раскрити-

ковать ее с этой точки зрения не трудно. Но Совет не вырабатывал никакой тактики, он лишь отражал настроения выдвинувшей его массы. А это настроение 18-го октября было таково, что лучше всего оно передавалось трубными звуками, победными песнями, — хотя бы далекими от действительности. Слушая в Совете речи рабочих депутатов, я думал: не тяжелей ли сон то, что мы переживали накануне в Консерватории и третьего дня в Вольно-Экономическом Обществе и перед Университетом?

* * *

Доходить до конца на заседании Совета я не мог, нужно было спешить в Университет, где собрался огромный митинг.

В этот день впервые сошлось в Университет много военно-служаших — офицеров, солдат, матросов, военных чиновников. Не знаю, что привлекло их на митинг, — приглашение какой-то беспартийной военной организации, или любопытство, или они шли на народное собрание, волнующее вопросом об отношении армии к народу в обновленной стране...

Им ответил далекою аудиторию, поставили у дверей патруль, не пропускавший на собрание посторонних. На лестнице старосты предупреждали военных о необходимости осторожности и предлагали, в видах конспирации, обертывать портфели бумагой или носовым платком.

Всего военных набралось 300—400 человек. Председательствовал вольноопределяющийся с тонким интеллигентным лицом.

Собрание выразило желание выслушать партийных докладчиков.

От эсэров говорил студент-кавказец — тот самый, что 13-го предлагал забарикадировать Университет, — говорит, как всегда, в страстно-агитационном тоне. Молодой солдатик в пантоне, сидевший за передней партой, перебил его:

— Те, что собрались здесь, знают, чем рискуют, и в агитации не нуждаются. Мы приплыли сюда за инструкциями.

Никаких инструкций, никакого плана у нас не было. И когда дошла очередь до меня, я мог лишь предложить соображавшимся вести агитацию среди низших чинов, привлекать их к народному делу, чаще сноситься друг с другом, вести учет сознательным элементам и брать наготове.

Лишь при большой необходимости эти общие места можно было принять за ответ на мучительный вопрос — что делать армии? Но соображавшиеся были рады и таким советам.

Не помню точно, какую резолюцию вынесло собрание.

Но после митинга ко мне подошло трое военных, — все трое пожилые, полные, в мешковатых сюртуках, с виду более похожие на учителей гимназии, чем на офицеров. Один из них сказал мне:

— Вот что, батенька... Чтоб потом ошибочки не вышло, не нужно себя обманывать... Теперь пойдет: армия с народом, армия с революцией. А как далеко до этого, одному Господу Богу известно. Нас здесь как будто и много, да проку с этого мало. Вам нужны строевые, те, в чьих

руках ружья и пушки. А строевых здесь и пяти человек не было...

— А матросы, солдаты? — изумился я.

— Все больше из писарских команд... Ну, там еще, ротные фельдшера, музыканты... Такие же вояки, как, вот мы: всего то и есть у них военного, что пуговицы светлые. Так то оно, батенька...

Повзвизгали еще все трое, покачали головами и пошли к выходу.

* * *

19-го октября возбуждение в Петербурге как то само собой улеглось. Уже не было в городе уличных демонстраций, не было митингов. Никого не смущало, что на улицах висят рыцарским царский манифест о свободах и греновский приказ о расстрелах. Настроение среди обывателей за ночь изменилось: на смену переплеченному с тревогой ликование пришло безнадёжное уныние. Страх усилился. О рабочих, о Совете Депутатов говорили с почтением (отчаянный мол, там головы), но уже без энтузиазма — ничего доброго от Совета не ожидали.

Забастовка продолжалась. Не выходили газеты, стояли железные дороги. Но Петербург уже не был отрезан от остальной России, как накануне манифеста. И из России, со всех концов, неслись в столицу вести о кровавых погромах.

В заводских районах не то не верили этим вестям, не то не придавали им значения. Здесь не было ни уныния, ни тревоги за завтрашний день.

Улицы кипели здесь возбужденной толпой. В кучках рабочих читали вслух «Известия Совета Рабочих Депутатов». Совет был на вершине славы, — рабочие видели в нем своего вождя. Его резолюции и статьи его «Известий» принимались, как приказы. Но объективно забастовка уже пережила себя. Бастовать до революции уже пережил себя. Бастовать до принятия накануне резолюции Совета, было бы принятой бессмыслицей. Такой же бессмыслицей было бы бастовать до отставки Трепова или до вывода войск из Петербурга. Вокруг забастовки уж немало образовывалось безвоздушное пространство общественного несочувствия.

Вечером, на Рождественских Курсах, вновь собрался Совет Рабочих Депутатов. Присутствовало 132 депутата, представлявшие 74 фабрики и заводских партий.

Доклады с мест говорили о том, что «есть еще порох в пороховницах», что рабочие готовы продолжать забастовку. Но из других городов в Исполнительный Комитет Совета поступили известия, что там уже возобновились работы. В частности, приступила к работе Москва. Восстанавливалось железнодорожное движение. Под влиянием этих известий Совет постановил прекратить забастовку, но так, чтобы прекращение ее поражения рабочих или о готовности их удовлетвориться подачной 17-го октября: 20-го на всех заводах и фабриках состоятся рабочие митинги, посвященные выяснению политического смысла закончивающейся борьбы; работы возобновятся лишь

176

21-го, и то не по будничному заводскому гудку, а повсюду сразу, в час, назначенный Советом, — ровно в полдень.

В резолюции, принятой Советом, говорилось:

«Считаясь с необходимостью для рабочего класса, опираясь на достигнутые победы, организоваться наилучшим образом и вооружиться для окончательной борьбы за созыв Учредительного Соборания на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права для достижения полного народовластия, Совет Рабочих Депутатов постановляет прекратить 21-го октября, в 12 часов дня, всеобщую политическую забастовку, с тем, чтобы, смотря по ходу событий, по первому же призыву Совета, возобновить ее для дальнейшей борьбы...»

Из лозунгов, рисовавшихся накануне — прекращение забастовки или ее превращение в вооруженное восстание — был найден, таким образом, выход: прекращение забастовки для подготовки к восстанию.

Выход чисто словесный, но характерный для мышления октябрьских дней: забастовка предполагалась тогда прологом к восстанию и идее восстания подчинялась вся тактика, — и объявление забастовки, и прекращение ее.

С особым вниманием отнеслось собрание к вопросу о прекращении забастовки печатников. Председатель Совета Хрусталев, являвшийся вместе с тем в Совете представителем Союза Рабочих Печатного Дела, предложил возобновить выпуск лишь тех газет, редакторы которых обязуются ввести «революционным путем» свободу печати, то

12 Войтинский.

177

есть откажутся от представления своих изданий в цензур.

Эта мысль как нельзя больше соответствовала настроению момента: подчеркивалась роль протариата, как гегемона общесоветского движения; создавалась впечатление реальности революционной борьбы в забастовки, идущих дальше пустых обещаний манифеста.

Этим объясняется тот энтузиазм, с которым было встречено предложение Хрусталева. Почти без преград Совет принял единогласно следующую резолюцию:

«Совет Рабочих Депутатов постановляет, что только те газеты могут выходить в свет, редакторы которых игнорируют цензурный комитет, не посылают своих номеров в цензур, вообще, поступают так, как Совет Рабочих Депутатов при издании своей газеты. Поэтому наборщики и другие товарищи-рабочие печатного дела, участвующие в выпуске газет, приступают к своей работе лишь при заведении и проведении редакторов и редакторов в печать. До этого момента газетные товарищи-рабочие продолжают бастовать, и Совет Депутатов примет все меры к изысканию средств для выдачи бастующим газетным товарищам-рабочим их заработка.

«Газеты, не подчиняющиеся настоящему постановлению, будут конфискованы у газетчиков и уничтожены. Типографии и машины будут попорчены, а рабочие, не подчинившиеся постановлению Совета Депутатов, будут бойкотированы».

178

Заключительная часть резолюции вызвала в собрании особенно бурные выражения восторга. Но приводить в исполнение выраженную здесь угрозу Совету не пришлось. Как раз в это время союз редакторов повременных изданий вынес постановление об игнорировании цензуры. Этим был предупрежден конфликт между рабочими печатного дела и редакторами.

Как настали историкам русской революции, остался спор о том, приняли ли редакторы свое решение совершенно свободно, или под давлением Совета Рабочих Депутатов.

Социалисты склонны были приписывать рабочим заслугу освобождения прессы от гнета предвзятой цензуры. Либеральные кружки, наоборот, утверждали, что вмешательство Совета в это дело не имело значения.

Я полагаю, что формально наши противники были правы: не будь советской резолюции, союз редакторов, все равно, провел бы в жизнь бойкот цензуры. Но не подлежит ни малейшему сомнению, что самый вопрос о такой форме борьбы за свободу печати поднялся и проведение бойкота цензуры стало возможно исключительно благодаря общественному слуху, произведенному всеобщей забастовкой. И в этом смысле рабочему классу принадлежит целиком заслуга за те изменения в условиях существования печати, которые наметились после 17-го октября.

* * *

С 20-го октября начинается в Петербурге полоса заводских рабочих митингов.

12 *

179

Строго говоря, митинги на заводах начались с первого дня забастовки. Но 12-го, 13-го, 14-го это были «летучки» с минутными речами случайных ораторов. 15-го, 16-го рабочие собирались во дворе бастующего завода или на улице у фабричных ворот выслушать доклад своего депутата. Кое-где после доклада выступал с агитационной речью партийный оратор (привезенный депутатом из города). 17-го и 18-го рабочих неудержимо тянуло в центральные кварталы города, на Невский, к Технологическому Институту, к Университету, — туда, где, по их представлению, должны были произойти решительные события.

19-го на ряде заводов и фабрик происходили рабочие собрания, на которых депутаты давали отчет о состоявшемся накануне заседании Совета и о принятом им решении продолжать забастовку, а партийные агитаторы защищали правильность этого решения, доказывали, что нельзя складывать оружие перед врагом.

20-го в первые митинги проходились одновременно на всех фабриках и заводах, по одной, общей программе. И эта новая форма собраний понравилась рабочим, — с этого дня митинги в стенах высших учебных заведений потеряли притягательную силу. Стоило ли идти за семь верст на торжественный митинг, когда можно было те же речи тех же ораторов слышать у себя, на заводском дворе или в мастерской? И еще: на городской митинг редко приходили все рабочие завода, чаще всего «несознательные» элементы оставались дома; а при устройстве митинга у себя можно было рассчитывать, что

соберутся все, без всяких исключений, и переловные, и отсталые.

Изменение формы митингов имело большие политические последствия. С того дня, как фабрично-заводские рабочие стали собираться по своим предпочтениям, из городской митинговой толпы исчез наиболее революционный, наиболее устойчивый ее элемент; в то же время с городской трибуны ушли занимавшие ее до сих пор ораторы; появились на ней новые лица, до того молчавшие; все громче стали раздаваться в городе умеренно-либеральные речи.

Иными словами, если до октябрьской забастовки форум политической жизни представлял митинг, где численно и идейно господствовали фабрично-заводские рабочие, то теперь образовались как бы две курии — рабочая и нерабочая, — и жизнь их протекала отныне отдельно, обособленно.

Университетские и митинги отвечали моменту гегемонии и пролетариата в общественном освободительном движении. Заводские митинги знаменовали начало рокового излома в жизни рабочего класса.

Начались заводские митинги, как я отметил, 20-го. В этот день на всех фабриках и заводах Петербурга обсуждалось решение Совета о прекращении забастовки. 21-го утром рабочие собрались вновь, — еще раз послушать ораторов, прежде чем приниматься за работу. 22-го была суббота, — заводы опять пригласили к себе ораторов.

Успеху митингов этого дня не мало способствовало то, что на фабриках и заводах появились амнистированные, выпущенные накануне из тюрьмы:

это было живое доказательство одержанной пролетариатом победы. 23-го, в воскресенье, — все местные митинги, по постановлению Совета, в память товарищей-путловцев, убитых 18-го. Давать 8-ми часового рабочего дня, о закрытии заводов, о помощи безработным. Вслед за тем пришли требовать известия из Кронштадта, — нужно было обсудить их. Потом (2-го ноября), началась новая забастовка, во время ее митинги шли ежедневно. А по окончании ее встал грозовый вопрос о локaute, — и опять пошли митинги.

Так заводские митинги в Петербурге происходили без перерыва вплоть до второй половины ноября.

Внешне эти собрания сильно отличались от университетских митингов.

Толпа — более однородная. Сплошь рабочие оного завода. Лишь изредка присутствуют здесь же представители администрации и технического персонала, — отдельной группой корректных, молчаливых гостей.

Большее порядка, больше чинности в ведении собрания, чем это было в городе, в начале октября. На каждом заводе свой постоянный председатель, по большей части, пользующийся полным доверием товарищей.

Какую блестящую фигуру представлял собой Петр, председатель Франко-Русского завода! Как Клементинский, наивный, добродушный гигант, всей душою преданный рабочему делу! Да и на других заводах были хорошие председатели-рабочие.

В начале собрания устанавливался порядок дня. Велась запись ораторов. Не было шума, пререканий.

На больших заводах торжественности собраний способствовала обстановка: для ораторов были устроены высокие помосты, обтянутые красным кушачем. Появились заводские знамена, порой изготовленные с большой пышностью, из красного бархата, с золотыми надписями, с царевыми крестами, с тяжелыми кистями. Но отпечаток торжественности лежал и на собраниях, происходивших в простых заводских мастерских, — ни знамен, ни помоста, высокий станок вместо трибуны, в воздухе вьются приводные ремни, гудит жегезо под ногами толпы, кругом машины, похожие на боевые орудия, на гигантские капацуклы.

На некоторых фабриках митинги устраивались в фабричной церкви, — раза два или три мне пришлось проводить такие собрания: кругом иконы, хоругви, вместо революционных знамен; здесь и там мерцающие огоньки лампад; теснящаяся к амбону толпа женщин, — они слушали ораторов с такой же наивной верой, с какою привыкли слушать обедню. В их представлении митинг был чем-то в роде богослужения, своего рода молебном, — только не за царя, а против царя.

Раз на фабрике Штиглица, после митинга в церкви, работницы обступили меня, благодарили за «доброе слово», при чем одна пожимала женщину, вся в слезах, твердила, что я говорил «лучше отца Николая»¹⁾.

¹⁾ На этом же митинге от другой старухи-работницы я услышал упрек: «Грех великий царя ругать».

На заводах толпа была по инерции напрана, — ее наивность сказывалась в том энтузиазме, с которым воспринимались все революционные лозунги, — даже неосуществимые, даже противоречивые.

Выступали на заводских митингах исключительно большевики, меньшевики и эсеры.

У меньшевиков в то время оказались крупные силы¹⁾: они фактически господствовали в Совете и в зарождавшихся профессиональных союзах. Но на заводах они обращали меньше внимания. Лучшим оратором меньшевиков был Троцкий. Его выступления вызывали всегда бурю энтузиазма. Но выступал он довольно редко.

Самой многочисленной агитаторской коллегией, как и в сентябрьский период, обладала большевистская организация. О составе этой коллегии я уже говорил.

Открытой полемикой между меньшевиками и большевиками на заводских митингах не было. За то жизнь, а не смерть.

Эсеры двинули на заводские митинги все, что имели. И если количественно их агитационный аппарат уступал нашему, качественно он стоял очень высоко. На заводах выступали: В. М. Чернов, Бунаков, Авксентьев. Все трое имели большой успех, — рабочие встречали их восторженно (правда, не так, как Троцкого).

Выступления эсеровских ораторов велись по определенному плану, — целью их было «отвоевать» у эсдеков крупнейшие заводы и создавать, таким образом, значительные пополнения меньшевистки получили благодаря амнистии и возвращению эмигрантов.

разом, опорные пункты для развития партийной работы в Петербурге. Особенное внимание было обращено на Невский район.

Мы должны были принять бой.

На первый взгляд, все как будто шло гладко: присутствуя на публичных диспутах представителей обеих социалистических партий, рабочие получили возможность разобратся в спорных вопросах социалистической мысли и оформить свое мировоззрение. Но на деле оказывалось не то: диспуты велись так, что слушатели не могли вынести из них ничего поучительного, не могли даже разобратся толком, из-за чего идет спор между «товарищами-ораторами». И отчаявшись понять суть этого спора, рабочий начинал, под конец, относиться к партийной полемике, как к пугалинуному бою: «А ну, кто кого?»

Чаще всего, спор шел о том, какая нужна рабочим партия? партия всех трудящихся или партия рабочего класса?

Весь этот спор чисто схоластически, то и дело сбиваясь на партийную пикировку и взаимные обвинения.

Эсеры жаловались рабочим на то, что эсдеки не хотят отдать крестьянам помещичью землю. Следовали цитаты, — чаще всего, «отрезки» Ленина. Эсдеки уличали эсеров в союзе с либералами. Нередко подымался спор о терроре. Однажды, после длинного и горячего спора на эту тему, один рабочий (беспартийный, но в глубине души сочувствовавший эсерам) так формулировал сущность разногласий:

— Эсеры всех министров перебили-б, да эсдеки заступаются, не пускают.

Митинг в кафе - бар
вечером в субботу

Эсеровский лозунг «Земля и Воля» нравился массам. Мы противопоставляли ему наш лозунг: «Земля — крестьянам!»

«8-часовый рабочий день рабочим!»

«Воля — всему народу!»

Это было больше, чем простая «земля и воля», и сравнение между обоими лозунгами было в нашу пользу.

Эсеры главным козырем в борьбе с нами считали свою аграрную программу и охотно развивали ее на митингах. У нас же в то время официально, принятой с'ездом аграрной программой было, была лишь временная аграрная программа: поддерживать стремления крестьян вплоть до конфискации всех помещичьих земель. При этом, вопрос о дальнейшей судьбе конфискованных земель оставался открытым. Эсеры указывали на этот промах в нашей программе, как на доказательство того, что эсеры не заботятся о нуждах крестьян.

Однажды, на одном из больших заводов, мне пришлось спешиться по этому поводу с эсеровским оратором. Мой противник вел атаку в резко демократическом тоне.

— Что даете вы народу? — восклицал он: — Что даст ваша победа крестьянину, кормильцу Земли Русской?

Я отвечал ему:

— Мы, как и вы, требуем конфискации всей земли. Но вы заранее предписываете крестьянам, земледельцам и делайте с нею, что вам заблагорассудится! Вы даете землю, но

не даете крестьянам воли распоряжаться ею. А мы даем и землю, и волю.

Это было как раз по плечу аудитории. Рабочие расхоплись с митинга, повторяя:

— Зачем мужикам указывать? Они и сами разберут... Ты им только землю предоставь...

Так в результате спора выяснилась для них сущность разногласий между обеими партиями!

В общем и целом, эсеры добились значительного успеха. В ряде вопросов — напр., в вопросах о терроре, о земле — симпатии беспартийной рабочей массы явно склонялись в их пользу.

Но социал-демократическая партия сохранила все же господствующее положение: масса шла за нею, — отчасти потому, что на нее рабочие уже смотрели, как на свою партию, а отчасти потому, что нравилось название — «Русийская, рабочая»...

Впрочем, под конец, рабочим надоели споры между эсерами и эсдеками, и из их среды то и дело раздавались настоячивые призывы к объединению социалистических партий. Тут сказывалось не только чисто стихийное тяготение рабочей массы к единству во что бы то ни стало, но и отсутствие подготовки, необходимой для понимания партийных разногласий и стоящих перед революционным движением тактических проблем.

Для массы этих проблем не существовало. Она жила, отоварившись лозунгами, простыми идеями, элементарными чувствами.

* * *

Начало заводских митингов ознаменовалось конфликтом между большевистской организацией и Советом Рабочих Депутатов.

МС-8
44.10
1976.362

92

Я говорил уже, что мысль о создании Совета принадлежала меньшевикам, и что родилась эта мысль из идеи об «органах революционного самоуправления», идеи, к которой большевики отнесли, как к утопической и вредной для революции затее.

Естественно, что приступая к организации «Рабочего Комитета», меньшевики не спешили по-даже, что дело было обставлено первоначально некоторой фракционной конспирацией, так как меньшевикам, которые были организационно слабее нас, не было никакого расчета облегчать нам «захват» или «срыв» Совета.

Таким образом, Совет Рабочих Депутатов сформировался за спиной большевистского Петербургского Комитета. Родившись из «утопического» плана «Искры», Совет неожиданно, как голова медузы, вырос перед партией и заявил претензию руководить борьбой петербургского пролетариата. Само собою разумеется, что большевики должны были отнестись к этой претензии, как к несерьезной дерзости.

Наша агитаторская коллегия узнала о появлении на свет Божий «Рабочего Комитета» от Красникова.

— Меньшевики новую навету затеяли, — сообщал он нам: Беспартийный зубатовский комитет выбирают.

И хотя «товарищ Антон» был далеко не лучшей головой в организации, я думаю, что в тот момент все большевики.

Впрочем, 14-го—15-го отношение к Совету среди большевиков переменялось: организация делегировала в Совет своих официальных представителей, агитаторы призвали рабочих выбирать депутатов, под рукой был дан ловушк стараться проводить в состав Совета «своих». Но на крупнейших заводах выборы были уже закончены. В огромном большинстве в депутаты попали беспартийные, — правда, тяготившие к социал-демократии. В самом совете выдвинулись на первый план меньшевики (Хрусталев, Гриневич, Троцкий). Большевики оказались в положении крайне-левого оппозиционного меньшинства.

Неудачное обращение Совета к Городской Думе и столь же неудачная манифестация 18-го октября дали нам достаточно пищи для критики «половинчатости» Совета. Но последним, переполнившим чашу нашего терпения, доказательством негодности этого учреждения явился решенный, вынесенный Советом по вопросу о похоронах рабочих, убитых за Нарвской заставой 18-го октября.

Сперва Совет предполагал устроить павшим торжественные похороны. В районах были сделаны необходимые приготовления: были готовы траурные знамена, венки, оркестры, рабочие хоры.

Но, накануне назначенного для похорон дня, Тронов опубликовал «объявление» с недвусмысленной угрозой ответить на рабочую демонстрацию черносотенным погромом.

«... В настоящее тревожное время», говорилось в этом объявлении, «когда одна часть населения готова с оружием в руках восстать против действий другой части, никакие

демонстрации на политической почве, в интересах самих же манифестантов, допущены быть не могут... (Полиция) не может допустить нарушения интересов огромного большинства жителей, желавшего спокойствия, порядка и свободы движения на улицах. В интересах этого большинства, равно как и в интересах самих манифестантов, с.-петербургский генерал-губернатор приглашает устроителей манифестации отказаться от своего замысла, а мирное население воздержаться от всякого участия в манифестации и от скопления на улицах, ввиду многотуши их провозгласившая вся масса тяжких последствий от тех решительных мер, к которым может быть вынуждена прибегнуть полиция ввиду отсутствия угрозы была вполне реальна: в эти дни по всей России катилась волна кровавых погромов; повсюду шли зверские убийства, приходили вести о людях, исключена возможность того, что Трепов попытается устроить подобный «праздник» и в Петербурге.

Одно лишь было подозрительно в Треповском приказе: если у полиции было готовое решение устроить в Петербурге погром, она не стала бы предупреждать население о своих планах и, во всяком случае, не поставила бы выполнение этого убийственного задания в зависимость от того, как будут похоронены погребенные. Приходилось, следовательно, предположить, что полиция, сама еще не решив хорошо, быть или не быть в Петербурге погрому, отбрасывая это предположение, следовало прийти к заключению, что устраивать в Петербурге погром

полиция не намерена, а первоначально попросту хочет сыграть на ужасе, посеянном среди населения вестями о погромах в провинции. Это заключение подкрепляло определенную тактику по отношению к Треповскому приказу, — следовало пройти мимо него.

Но на заседание Совета, обсуждавшего этот вопрос, явились либералы — гласные Городской Думы. Они сообщили, будто на вчерашнем заседании готовящемся погроме, закидали рабочих не под давлением на провокацию, не подвергать мирное население смертельной опасности, — и развели такую панику, что Совет, в конце концов, сдался на их просьбы: демонстрация была отменена, и вместо нее были назначены на следующее утро заводские митинги.

Чтобы замаскировать немного это отступление, Совет принял своей резолюции ярко-революционную форму, заявив: «Петербургский пролетариат даст царскому правительству последнее сражение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно вооруженному и организованному пролетариату». В заключение, резолюция призывала рабочих помнить, что «главные борцы своей смертью завещали нам удесятерить наши усилия для дела самосвободужения и приближения того дня, когда Трепов вместе со всей полицейской шайкой будет сброшен в общую грязную яму обломков монархии».

Но эта словесность не меняла существа дела. В вопросе о похоронах Совет, в ночь с 22-го

на 23-ье октября капитулировал перед по-
лицией.

А в утренних газетах появился новый приказ
предначальника, разрешавший похоронную
процессию при условии, что она будет следовать
по определенным улицам. Таким образом, оказалось,
что отцы города сообщили Совету неверные сведения,
о намерениях предначальства и, заразив Совет
своей паникой, побудили его отступить перед угро-
зами Трепова в то время, когда Трепов сам считал
необходимым отказаться от этих угроз!

На лице были исчерпывающие улики того, что
Совет Рабочих Депутатов «плетется в хвосте у
либералов».

Немедленно большевистским агитаторам была
дана директива: проводить на заводских митингах
революции и порицания Совету.

На нескольких заводах такие революции были
приняты, на других предложение большевиков
проваливалось. Рабочие хлосали агитатору-боль-
шевику, но когда дело доходило до голосования,
завывали:

— Что же это у нас выйдет? Мы Совет выйпрати,
а теперь мы же ему порицание вынесем?

И сколько ни развивал агитатор теорию ответ-
ственности представителей перед избирателями, ра-
бочая толпа оставалась на своем. Так, я лично
потерпел неудачу при попытке провести больше-
вистскую резолюцию на Обуховском заводе, где
против меня выступил талантливый молодой ра-
бочий Голубь, игравший крупную роль в Совете.
В связи с этой историей в большевистских
кругах был поднят вопрос о том, что недопустимо

оставлять руководство петербургским рабочим дви-
жением в руках беспартийного органа, готового
в любой момент, под влиянием либералов, сойти
с революционного пути. Совет представлял собою
стихийную сторону рабочего движения. —
нужно было подчинить его такому органу, в котором
была бы воплощена революционная сознатель-
ность пролетариата. Отсюда мысль — превратить
Совет Рабочих Депутатов в партийную организацию,
в ячейку Р.С.-Д.Р.П., подчиненную, на началах
дисциплины, Петербургскому Комитету. Вопрос
этот живо обсуждался в партийных кругах и в
печати.

Насколько я помню, в конце концов, большин-
ство в нашей организации склонилось к тому,
чтобы действовать постепенно: сперва добиться
от Совета принципиального решения, что он под-
чиняется Р.С.-Д.Р.П., а затем уже поставить
вопрос о том, какой именно партийный орган должен
давать Совету директивы. Таким образом, первый
удар предполагалось направить против не социал-
демократических элементов Совета, то есть, против
асаров, а заключительный маневр должен был
«вышибить» из Совета меньшевиков.

Проведение этой кампании было возложено на
Княгиняна, о котором я уже упоминал выше.

Он очень неохотно принял на себя поручение
партии, — и провалился с ним самым основательным
образом. 29-го ноября он поднял на заседании
Совета вопрос о том, что Совет должен «определить
свою политическую физиономию», но на это после-
довал столь энергичный отпор со стороны собрания,

что Кнунянц поспешит снять свое предложение¹⁾.

Отмечу, что в нашей агитаторской коллегии, которая в эти дни была чуть ли не центром большевистской организации, вопрос о подчинении Совета партии вызвал большие разногласия. Были у нас сторонники решительных мер, подошедшие до предложения — в случае неподчинения Совета директивам Комитета, разогнать его. Помню горячую речь на эту тему Абрама. Но другие опасались, как бы превращение Совета в партийную ячейку не подорвало его влияния в беспартийных рабочих массах. В частности, я лично был решительно против задуманной «кампании».

Забегая немного вперед, отмечу, что после провала этой «кампании», отношения между большевистской организацией и Советом оставались натянутыми.

В начале ноябрьской забастовки дело опять дошло до конфликта. Провозглашая забастовку, Совет решил распространить ее и на газеты. —

¹⁾ В. Горев в своих воспоминаниях передает, что решение о предоставлении Совету ультиматума «принять партийную программу или превратиться в простое профессиональное объединение» было принято в расширенном Федеральном Совете, где участвовали и большевики и меньшевики. Об этом эпизоде я ничего не знаю. Во всяком случае, у нас, в агитаторской коллегии, поход против Совета обсуждался, как поход против меньшевиков. А в самом Совете 29 ноября меньшевики выступили против предложения Кнунянца, и при том выступили с крайней резкостью, как против попытки в 80 раз вать Совет Рабочих Деputатов.

Выступление в Совете в защиту большевистского «ультиматума» Троцкий (в своем письме, заканчивающем предисловие к книге Сверчкова «На заре революции») приписывает впечатлению, что выступал по этому вопросу именно Кну.

следам, само собою разумеется, исключение для своих «Известий», которые печатались нелегально то в одной, то в другой типографии. Большевики внесли предложение, чтобы такое же исключение было сделано и для их органа «Новой Жизни». Представители союза печатников встали против этого предложения, и оно было отклонено собранием. Тогда большевики перенесли вопрос на заводские митинги и здесь стали предлагать революцию с выражением сожаления по поводу того, что во время забастовки не выходит газета, служащая развитию революционной сознательности и сплоченности пролетариата.

Помнится, успеха эта революция не имела. Между прочим, против нее выступали и социалисты-революционеры, подчеркивавшие, что они, мол, не требуют привилегий для своего органа¹⁾. — раз бастовать, так уж всем, без всяких исключений.

Против такой постановки вопроса трудно было спорить. Мы, агитаторы, быстро в этом убедились. В нашей коллегии был даже поднят вопрос о необходимости принять меры, чтобы Петербургский Комитет впредь не давал нам «дипломатских» директив. Но события сменялись так стремительно, что вскоре мы забыли об этой маленькой неудаче.

* * *

С переходом митингов в окраинные заводские районы, пролетарские элементы особенно городского (не окраинного) населения оказались вытесненными из русла революционно-политической

¹⁾ «Сына Отечества»

жизни. Фабрично-заводские рабочие были объединены своим Советом и в этом объединении черпали силу. Рабочие мелкой промышленности, ремесленники, приказчики оставались вне рамок этого объединения, — прикинуть к нему они могли, лишь организовавшись по профессии.

В этом одна из причин того, что тяга к профессиональному объединению, уже давно начавшаяся в Петербурге, после октябрьской забастовки усилилась, принимает почти лихорадочный характер, — и именно среди пролетарских групп, не представленных в Совете.

Начинается напряженная работа по строительству профессиональных союзов. В этой работе наша организация почти не принимала участия, — все ее силы уходили в заводские районы. — Меня лично установилась тесная связь с народными служками, — эту связь я сохранил и позже, вплоть до моего вынужденного отъезда из Петербурга в конце 1907 года.

Объединяясь с приказчиками случайно.

Как то раз мне перепали приглашение на митинг в Василеостровском театре. Там оказалось собрание приказчиков, посвященное вопросу о праздничном отдыхе и об организации союза. Собрание было многолюдное, оживленное, дружное.

В начале его один приказчик — интеллигентного вида, хорошо одетый и уже не молодой — обратился к собравшимся с предложением почтить вставанием память ... декабристов. Предложение было принято, все встали благоговейно, постояли молча с минуту и сели вновь. Тогда оратор пред-

ложил почтить память Лелябова и Перовской. Вновь встали и вновь сели. Оратор внес новое предложение: почтить вставанием память Гадаева. Затем последовало предложение почтить павших 9-го января и, в заключение, — убитых 18-го октября. Выполнив этот обряд, оратор, ни слова не прибавив, покинул трибуну.

Всего за ним выступил человек типично го-стиннодворского типа и начал говорить о жизни приказчиков. Говорил он с подлинным вдохновением, с глубоким чувством, с заражающей страстностью. Это был И. И. Козловский, приказчик-самоучка, впоследствии редактор-издатель прика-чившего профессионального журнала и наш вы-борщик в Государственную Думу.

И еще выделялись в собрании несколько чело-век, в которых чувствовалась и общечеловеческая жила, и вдумчивость, и даже некоторая подготовка к тому делу, за которое они брались. А дело было огромное: торгово-промышленных служащих в Пе-тербурге насчитывалось до 200 тысяч, — почти столько же, сколько фабрично-заводских рабочих, — и объединение их в профессиональный союз представлялось очень трудной задачей. Но у ини-циаторов собрания был готовый план: в основу всего они клали кампанию за праздничный отдых, — лозунг, который мог всколыхнуть и объединить всю приказничью массу и который, к тому же, можно было сравнительно легко провести в жизнь. Одновременно должна была идти организационная работа: прежде всего, предполагалось объединить приказчиков больших рынков, и эти слющенные

группы должны были явиться центрами приложения для приказчиков ближайших улиц.

Руководители приказничьего движения, с которыми я познакомился на митинге в Василеостровском театре, просили меня помочь им в разработке проекта устава союза, в составлении воззваний, в устройстве агитационных собраний. Сперва я отбоявлялся, так как и без того работал сверх сил. Но в большевистской организации решили через меня закрепить влияние партии на приказничий союз. Представители Комитета настойчиво убеждали меня не оставлять приказчиков, поддерживая связь с ними, иначе пришлось подчиниться.

Так, не покидая своей агитаторской работы на заводах, втянувшись в организационно-союзную работу среди торгово-промышленных служащих. Пришлось сталкиваться при этом и с другими профессиональными группами: с бухгалтерами, портными, золотого-серебряниками. Повсюду наблюдалось страстное, нетерпеливое стремление к объединению. Повсюду объединение рассматривалось не просто, как средство добиться повышения плат, сокращения рабочих часов или каких-либо иных материальных выгод, но как путь к свету, к знанию, к человеческому возрождению. Культурническая тенденция преобладала не только над экономической, но и над революционно-политической тенденцией.

Детали молодого профессионального движения немного побивались «политики». Во всяком случае, они не хотели, чтобы их работа стала предметом «использования» для революционных партий. Но социалистическую пропаганду, политическое вос-

питание массы путем лекций, брошюр, газет и т. д. даже умереннейшие профессионалисты считали одной из основных задач союзного объединения.

Стремление к объединению захватило в конце октября и такие профессиональные группы, которые до сих пор стояли весьма далеко от рабочего движения. В этом мне пришлось убедиться при обстоятельствах, о которых я расскажу здесь несколько подробнее.

* * *

Однажды меня вызвали на лестницу с заседания Совета Рабочих Депутатов. Товарищ из Петербургского Комитета с особо значительным видом спросил меня:

— Можете завтра, в 5 час. дня, выступить на митинге?

— Могу.

— Имейте в виду, дело ответственное и рискованное. Не забудьте, на всякий случай, взять с собою револьвер.

— А что это за митинг?

— Мы, собственно, не знаем хорошенько. Может быть, просто провокация... Подробности узнаете на предварительной явке.

— Да кто устраивает митинг?

— Околоточные.

— Кто?—переспросил я, думая, что ослышался.

— Чины полиции, околоточные надзиратели, пристава. У них что то там начинается. Просили

пригласить агитаторов. Это очень важно. Комитет решил послать вас и Николая. Согласны ехать?

— Давайте явну¹⁾.

Явочный адрес оказался у чорта на куличках: Электрическая Станция на Обводном канале, спросить главного инженера.

В 4 ч. мы с Коноваловым были там. Нас провели в кабинет инженера. Сказали ему цароль. Инженер, притворив плотнее дверь и усадив нас в кресла, сказал:

— Я передам в Комитет приглашение, но и сам не знаю, в чем дело. Во всяком случае, я поеду с вами.

И вытаскив из ящика стола маузер, он решительным движением засунул его за пояс брюк.

— Откуда у вас сведения о митинге? спросил я.

— У нас есть один служащий Трофимов, — так это от него.

— А что это за человек?

— Как вам сказать? Я его всегда считал черносопелцем. На икону собирать или царский могибен устраивать — всегда он первый. И о политической своей человер. Впрочем, представляете, за последнее время погледел, — таким стал демократом...

¹⁾ Я был не слишком удивлен митингом чиннов полиции, так как в 1905 г. было уже несколько выступлений этого рода: так, в январе, в период всеобщих забастовок, выступили с экономическими требованиями и с угрозами забастовки чинны рижской полиции; в июне газеты сообщали о возмущении, вызванного холдингами городовых Баку и Москвы; в октябре холдингами городовых (или подготовившихся) забастовки чиннов полиции в Польше. В петербургском случае новая и оригинальная была лишь то, что чинны полиции, устранив митинг, обратились за ораторами в партийную организацию.

— Может быть, из шпиков произведен в провокаторы?

— Может быть! Вот, сами увидите.

И, позвонив, он приказал слуге:

— Пришлите сюда Трофимова.

В кабинет вкатился человек средних лет, круглый, мятый, с румяным, улыбающимся лицом, с светлыми усами и бородой, — тип сахара-медовича.

— Из Комитета, сказал ему инженер, указывая на нас: От большевистской организации.

— Очень, очень рад, затянул нараспев Трофимов: а уж как гл. околотошные будут рады, и сказать невозможно. Теперь наше дело пойдет...

— Какое дело? спросил я

— Союз профессиональный! Союз околотошных надзирателей и полицейских чиновников! Давня-с мечта лучших людей столичной полиции. Сегодня-с, господа, исторический день, — кладем первый камень фундамента.

— Где назначено собрание?

— Я провожу-с вас.

— Много будет народу?

— Человек пятьдесят.

— Только то? Ну, едем!

Но в это время инженеру доложили, что его спрашивают, и в кабинет вошли два человека. Мы узнали в них знакомых агитаторов-меньшевиков: один из них был тов. Мирон (Хинчуг), имени другого я не помню.

Мирон заявил нам:

— Мы от Петербургской Группы. Дело не фракционное, — давайте договоримся об общем выступлении.

Я заметил:

— Не много ли будет ехать вшестером? Со-
брание то маленькое!

— Хорошо, согласился Мирон, поделимся.
Поедем двоим, — один от вас, другой от нас.
Но Коновалов восстал против такого решения
вопроса.

— Дело, говорил он, трудное. Мы с тов.
Сергеем Петровым вместе поедем.
Тогда Мирон сказал:

— Ладно, вы первые получили явку, — связь,
собственно говоря, ваша... Поезжайте! Но обе-
щайте, что не будете вести фракционной политики
и не будете стараться захватить союз в свои руки!
Получив торжественное обещание, меньшевики
удалились, а мы четверо — инженер, Трофимов,
Николай и я — двинулись в путь.

Трофимов кликнул извозчика и дал ему адрес:
— Английский мост!

У моста он отпустил извозчика и повел нас по
Невскому, по направлению к Адмиралтейству. На
своих коротеньких ножках он так быстро-каглился
вперед, что мы едва поспевали за ним. Вдруг он
коркнул куда-то вниз, в подвал. Я за ним. Смотрю,
винный погребок. Трофимов бросил взгляд вокруг,
заглянул в соседнюю комнату, и — к стойке:
— Полиция где?

— В Караванную гостиницу перешли-с, от-
вечал сиделец: Здесь им что-то не приглянулось.
Вышли на Невский, прошли несколько шагов,
свернули на боковую улицу и вошли, вслед за
Трофимовым, в подъезд гостиницы.
— Где полиция?

— Уже все в сборе, отвечал малый в бегом
фартуке: Вас поджидают, велели провести.
Вел он нас по бесконечным коридорам, по каким
то лестницам, то вверх, то вниз.

— Конспирация! шепнул я Николаю.
Тот кивнул головой:

— Да, народ основательный.

Наконец, остановились перед закрытой дверью.

— Сюда пожалуйста.

Малый деликатно, по-особенному, постучал в
дверь. Мы вошли. Обыкновенный гостиничный
номер. Огромная двуспальная кровать с пологом.
Два окна на улицу. Зеркала и олеографии на
стенах. Почти все пространство от кровати до
окон занято длинным столом. Кругом него люди
в полицейских мундирах, все при шапках. Лица
серьезные, напряженные.

Трофимов петушком подлетел к сидевшим по-
ближе, у двери.

— Вот и мы... Гр. воляные не отказались по-
мочь нашему делу... От Петербургского-с Коми-
тета, от большевиков...

В ответ ледяное:

— Присаживайтесь, господа.

Мы обросили на кровать верхнее платье и за-
няли указанные нам места. — Я и Николай друг
против друга в глубине стола, у окна, инженер и
Трофимов на противоположном конце, у кровати.

Молчание. Наконец, один околочный, ма-
ленький, пулявенький, с бритой бородой и длинными
рыжими усами, обратился к нам:

— Гр. воляные! Извините-с за беспокойство, но
наше положение особое, — позволю вам доложить,